

Роберт Вальзер

Помощник

© Перевод Н. Федоровой

Однажды часов около восьми утра некий молодой человек поднялся по ступенькам чистенького, с виду нарядного особняка. Шел дождь. «Чудно, ей-богу, — думал молодой человек, — у меня зонтик». Дело в том, что в прежние годы зонтиков у него не водилось. Одну руку ему оттягивал коричневый саквояж из самых дешевых, — видимо, юноша был прямо с дороги. На уровне его глаз красовалась эмалированная табличка с надписью: К. ТОБЛЕР. ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО. Молодой человек помедлил, точно решил напоследок обдумать еще некоторые мелочи, затем надавил кнопку электрического звонка, после чего какая-то особа, с виду служанка, открыла ему.

— Я новый сотрудник, — сказал Йозеф (так звали молодого человека).

Служанка впустила его в дом и показала, как пройти в контору. Хозяин сейчас будет.

Йозеф спустился по деревянной лестнице, предназначенней, казалось, скорее для кур, чем для людей, и без колебаний вошел в техническое бюро. Немного погодя дверь отворилась. По уверенным шагам и по манере открывать дверь гость сразу догадался, что это хозяин. А вид пришедшего лишь окончательно подтвердил догадку: действительно, перед ним был не кто иной, как сам Тоблер, глава фирмы, г-н инженер Тоблер. Он изрядно удивился и, похоже, был рассержен, да, в самом деле рассержен.

— Почему, собственно, — воскликнул он, грозно глядя на Йозефа, — вы явились сегодня?! Вам же назначено только на среду. Я покуда не готов вас принять. Зачем горячку-то пороть! Ну-с?

В этом последнем «ну-с» Йозефу почудилось легкое пренебрежение. И то сказать, такие словечки звучат не очень приязненно. В посредническом бюро, ответил он, особо подчеркивали, что ему надлежит приступить к своим обязанностям в понедельник, то есть сегодня с утра. Если это ошибка, он просит прощения, однако, право же, его вины тут нет.

«Ишь, какой я вежливый!» — думал молодой человек, в душе невольно улыбаясь собственному благонравию.

Тоблер был явно не склонен тотчас сменить гнев на милость и отпустил еще несколько брюзгливых замечаний на сей предмет, причем его и без того уже красная физиономия от возмущения с каждой минутой багровела все сильнее. У него «в голове не укладывается», он «поражен» и тем, и другим, и третьим, — когда же его удивление по поводу допущенной ошибки наконец улеглось, он буркнул, что Йозеф может остаться.

— Отослать вас я теперь все равно не могу, — добавил он и, помолчав, спросил: — Есть хотите?

Йозеф довольно спокойно сказал «да». И в тот же миг подивился своему хладнокровию. «Еще полгода назад, — пронеслось у него в мозгу, — бесцеремонность подобного вопроса смущила бы меня, притом как!»

— Тогда идемте. — С этими словами инженер повел нового сотрудника из contadorы, помещавшейся в подвале, наверх, в столовую, расположенную в первом этаже. В столовой, или гостиной, хозяин сказал:

— Садитесь. Все равно куда. И ешьте досыта. Вот вам хлеб. Режьте сами, сколько надо. Главное — не стесняйтесь. И кофе наливайте не скупяясь. Кофе у нас вдоволь. А вот масло. Как вы понимаете, оно тут затем, чтобы его ели. И вареньем угощайтесь, если любите. А жареной картошечки не хотите?

— Отчего же, с удовольствием, — храбро сказал Йозеф.

Г-н Тоблер тотчас кликнул Паулину, служанку, и велел быстренько приготовить желаемое блюдо. После завтрака внизу, в kontоре, среди чертежных досок, циркулей и в изобилии разложенных всюду карандашей, между двумя мужчинами состоялся примерно такой разговор.

Ему, сурово произнес Тоблер, нужен работник со смекалкой. Исполнительный автомат здесь не надобен. Если Йозеф намерен работать бездумно, кое-как, то пусть говорит сразу, чтобы с самого начала было ясно, на что он способен. Ему, Тоблеру, нужен человек знающий, чтоб работал без понуканий. Если Йозеф не считает себя таковым, то пусть... И так далее и тому подобное. В этом смысле лексикон техника-изобретателя богатством похвастаться не мог.

— Полагаю, — сказал Йозеф, — что смекалки у меня вполне достаточно. Сам я твердо верю и надеюсь, что всегда сумею выполнить все, что вы сочтете необходимым от меня потребовать. К тому же, насколько я понимаю, тут наверху (тоблеровский дом стоял на вершине холма) я покуда на испытании. И характер нашего обоюдного соглашения никак не препятствует вам в случае чего сразу распрощаться со мною.

Он льстит себя надеждой, почел своим долгом заявить г-н Тоблер, что до этого не дойдет. И пусть Йозеф не обижается на него, Тоблера, давешние высказывания. Просто он решил с самого начала внести полную ясность и думает, что им обоим это лишь на пользу. Теперь каждый знает, чего можно ждать от другого, так оно лучше всего.

— Безусловно, — заверил его Йозеф.

Закончив сию беседу, начальник указал подчиненному, где он «сможет» работать. Это было подобие узкого, тесного и чересчур низкого бюро с выдвижным ящиком, в котором лежали касса с марками и несколько книжек форматом поменьше. Стол — да, именно стол, а вовсе не настоящее бюро — стоял у окна, находившегося вровень с землей и глядевшего в сад. За окном виднелась узкая лента озера, а еще дальше — его

противоположный берег. Сегодня все это казалось хмурым и унылым, так как дождь лил не переставая.

— Идемте, — вдруг сказал Тоблер, сопровождая свои слова, как почудилось Йозефу, не вполне уместной улыбкой, — пора уж и моей супруге наконец-то вас увидеть. Пойдемте, я вас ей представлю. А потом уж посмотрите вашу комнату.

Он повел Йозефа на второй этаж, где их встретила высокая, стройная женщина. Это и была она. «Обыкновенная женщина, — мелькнуло в голове у молодого сотрудника, однако тотчас же он мысленно добавил: — все-таки не обыкновенная». Дама смотрела на «новичка» насмешливо и равнодушно, но умысла в том не было. И холодность, и ирония, похоже, были у нее в крови. Она небрежно, даже лениво протянула Йозефу руку, он пожал эту руку и поклонился «царице дома». Так он назвал ее про себя, не затем чтобы восторженно возвысить, наоборот — чтобы втихомолку уязвить. На его взгляд, эта женщина держалась чересчур высокомерно.

— Надеюсь, вам понравится у нас, — на удивление звучным голосом проговорила она и легонько скривила губы.

«Скажи пожалуйста! Очень мило. Ах, какое дружелюбие! Ну-ну, поживем — увидим». Таким вот образом Йозеф счел уместным в мыслях отозваться об этих доброжелательных словах. Потом ему показали комнату; она помещалась наверху, в крытой медью башенке, и оттого в ней было что-то романтично-благородное. К тому же она оказалась полной воздуха и света и очень уютной. Постель сверкала чистотой. Да, жить в такой комнате — сущее удовольствие. Недурно. И Йозеф Марти — таково было полное имя юноши — поставил свой саквояж, который он принес снизу, на паркетный пол.

Затем его коротко посвятили в секреты тоблеровских деловых начинаний и ознакомили в общих чертах с обязанностями, каковые ему надлежало исполнять. При этом его не оставляло странное ощущение — он понимал лишь половину. Что же это с ним творится, думал он и корил себя: «Выходит, я обманщик, пустомеля? Хочу ввести господина Тоблера в заблуждение? Ему нужен человек со смекалкой, а я нынче вконец отупел. Дай бог, чтобы сегодня вечером или хотя бы завтра утром все наладилось».

Обедал он прямо-таки с наслаждением.

И опять тревожно думал: «Как же так? Вот я сижу тут и ем, да еще с таким аппетитом, какого уже давненько не бывало, а в тонкостях предприятий Тоблера ничегошеньки не понимаю. Жульничество это, настоящее жульничество! Обед замечательный, в точности как дома. Матушка такой же вот суп готовила. Овощи вкусные, сочные, мясо тоже. В городе днем с огнем ничего подобного не сыщешь!»

— Кушайте, кушайте, — потчевал Тоблер. — В моем доме едят основательно, уразумели? Зато после и работают.

— Вы же видите, хозяин, я ем, — сконфуженно промямлил Йозеф и даже рассердился на себя. «Интересно, — подумалось ему, — а через неделю он будет вот этак меня потчевать? Стыд-то какой — сознавать, до чего мне по вкусу этот чужой обед. Сумею ли я оправдать свою беспардонную прожорливость достойной работой?»

С каждого блюда Йозеф брал себе добавку. Что ж, он вышел из глубин человеческого общества, из сумрачных, глухих, убогих закоулков большого города. И уже много месяцев питался плохо.

А вдруг у него это на лице написано? — подумал он и залился краской.

Н-да, Тоблеры определенно прочли кое-что — самую малость! — по его лицу. Недаром хозяйка порою бросала в его сторону почти сострадательные взгляды. Четверо детей — две девочки и два мальчика — искося посматривали на него как на диковинное чудо-юдо. Под беззастенчиво вопросительными и испытующими взглядами Йозеф совсем приуныл. Ведь подобные взгляды напоминают, что все вокруг — чужое, чужой уют чужого домашнего очага, и обостряют у человека ощущение неприкаянности и одиночества, а он-то как раз обязан постараться возможно скорее освоиться в этом чужом уютном доме. От таких взглядов на самом жарком солнце пробирает озноб, на миг они леденящим холодом вливаются в душу и снова уходят, как и пришли.

— Так-с. А теперь за работу! — воскликнул Тоблер.

Оба вышли из-за стола и, как гласил приказ, направились — хозяин шагал первым — вниз, в контору, поработать.

— Вы курите?

— О да, конечно.

— Возьмите сигару вон в том синем пакете. И можете спокойно дымить за работой. Я и сам так делаю. А теперь взгляните-ка сюда, это — смотрите внимательно! — документация часов-рекламы. Считать хорошо умеете?.. Тем лучше. В первую очередь речь пойдет о... Что вы делаете?! Молодой человек, пепел положено стряхивать в пепельницу. У себя в доме я люблю порядок... Итак, в первую очередь речь пойдет о... возьмите карандаш... ну, скажем, о смете, о точном расчете прибыльности этого проекта. Садитесь сюда, я вам сейчас же и продиктую необходимые цифры. И извольте слушать внимательно, я дважды повторять не люблю.

«Справлюсь ли?» — думал Йозеф. Хорошо хоть, при такой сложной работе дозволено курить. Без сигары он бы теперь откровенно усомнился в собственной толковости.

Сотрудник писал, патрон время от времени заглядывал ему через плечо, а сам меж тем с длинной толстой сигарой в красивых, ослепительно белых зубах расхаживал по конторе, называя новые и новые цифры, каковые покуда еще немного скованная рука Йозефа быстро изображала на бумаге. Скоро голубоватый дым полностью окутал обоих, тогда как

день за окном, похоже, решил разгуляться. Йозеф нет-нет да и бросал взгляд на улицу, отмечая перемены, происходившие в небе. Под дверью залаяла собака, и Тоблер на минуту вышел, чтобы унять животное. Часа через два г-жа Тоблер прислала к ним одного из детей: пора, мол, пить кофе; стол накрыт в беседке, так как погода улучшилась. Тоблер взял шляпу и велел Йозефу идти пить кофе, а после переписать черновик набело — к вечеру как раз, поди, и управится.

И патрон удалился. Глядя, как он по саду спускается с холма, Йозеф подумал: «До чего статный». Он постоял еще немного у окна, а затем направился в прелестную, окрашенную в зеленый цвет беседку пить кофе.

За кофе хозяйка полюбопытствовала:

— Вы были без места?

— Да, — кивнул Йозеф.

— Долго?

Он рассказывал, и всякий раз, когда он упоминал о тех или иных горемыках и об их плачевной жизни, она вздыхала. Вздохи слетали с ее губ легко и бездумно, вдобавок она дольше, чем нужно, задерживала дыхание, как бы желая насладиться приятностью этого звука и ощущения.

«Некоторым людям, — думал Йозеф, — словно бы доставляет удовольствие размышлять о прискорбных материях. Как эта женщина разыгрывает задумчивость! Вздыхает, как другие смеются, так же безмятежно. Вот, стало быть, какая у меня теперь хозяйка!»

После кофе он рьяно взялся перебеливать черновик. Наступил вечер. Завтра утром, глядишь, выяснится, стоящий он работник или ничтожество, светлая голова или тупая машина, умница или бездарь. А на сегодня, по его разумению, сделано уже достаточно. Йозеф собрал работу и поднялся к себе в комнату, радуясь, что можно некоторое время побыть одному. Не без грусти он принял не спеша распаковывать пожитки и, доставая из саквояжа одну вещицу за другой, вспоминал о несчетных переездах, в которых этот саквояж послужил ему на славу. К простым вещам прикипаешь сердцем, Йозеф это чувствовал. Интересно, как пойдет его жизнь у Тоблера? — спрашивал он себя, с нарочитой аккуратностью укладывая в шкаф свое немногочисленное бельишко. «Хорошо ли, плохо ли, а я здесь, и будь что будет». Швырнув на пол сбившиеся в комок спутанные нитки, обрезки бечевок, галстуки, пуговицы, иголки и разные шнурки, он мысленно дал себе обещание стараться изо всех сил.

— У меня тут и кусок хлеба есть, и теплая постель, не грех за это и поработать — что головой, что руками, — пробормотал он. — Сколько мне сейчас лет? Двадцать четыре! Не так уж и молод. А в жизни-то поотстал.

Опорожнив саквойж, Йозеф поставил его в угол. Когда по его расчетам настало время ужина, он спустился вниз, потом сходил в деревню на почту, а потом лег спать.

На следующий день Йозеф, как он считал, проник в суть часов-рекламы, ибо он усвоил, что сей прибыльный проект есть не что иное, как декоративные часы, каковые г-н Тоблер намеревался сдавать в аренду администрации железных дорог, рестораторам, владельцам гостиниц и т. д. «Часы и правда загляденье, — рассуждал Йозеф. — К примеру, можно повесить их в одном или нескольких трамвайных вагонах, и не где-нибудь, а на самом видном месте, чтобы пассажиры сверяли по ним свои карманные хронометры и всегда знали, который час. Ей-богу, недурственные часы, — вполне серьезно решил он, — тем более что у них есть особое достоинство: они связаны с рекламой. Ведь именно для такой надобности их и снабдили одной, а то и двумя парами орлиных крыльев из поддельного серебра и даже золота, чтобы поместить там изящную роспись. А изобразят на них, ясное дело, точные адреса фирм, которые воспользуются этими крыльями, или полями (так их называют в технике), для обнародования всяких полезных сведений, верно ведь? Такое поле стоит денег море, а посему, как вполне справедливо считает мой хозяин, господин Тоблер, обращаться с нашим предложением надо в крупнейшие торговые и промышленные фирмы. Соответствующую плату следует взимать вперед, оговаривая в условиях контракта рассрочку по месяцам. Кстати, часы-реклама могут найти применение почти везде, как в нашей стране, так и за рубежом. Тоблер, похоже, возлагает на них весьма и весьма большие надежды. Правда, изготовление самих часов и медных и оловянных финтифлюшек к ним обойдется недешево, ведь и художник свое потребует, однако денежки за объявления, наверно и очень возможно, будут поступать регулярно. Что сказал нынче утром господин Тоблер? Он-де получил в наследство изрядный капитал, а теперь вот взял да и ухнул все состояние в часы-рекламу. Ничего себе — ухнуть в часы десять — двадцать тысяч франков! Хорошо, что я запомнил это слово — «ухнуть», — похоже, оно весьма употребительное, а вдобавок очень меткое, и, возможно, мне в ближайшее время придется прибегнуть к нему в служебных письмах».

С такими мыслями Йозеф закурил сигару.

«В сущности, вполне приятная обитель, это техническое бюро! Правда, большая часть здешних дел для меня покуда китайская грамота. Обычно я с трудом воспринимаю новое и незнакомое. Примеров тому хватает, мне ли не знать. Люди нередко, хотя и не всегда, считают меня умнее, чем я есть. А вообще все так странно».

Он взял фирменный бланк, несколькими штрихами перечеркнул шапку и быстро написал следующее.

Дорогая г-жа Вайс!

Я не погрешу против истины, сказав, что Вы первая, кому я пишу из этих краев. Мысль о Вас — самая первая, самая непринужденная и естественная среди того множества мыслей, что гудят сейчас у меня в голове. Пока я жил в Вашем доме, Вы, вероятно, частенько дивились моим поступкам. Не раз приходилось Вам подбадривать меня, вытаскивать из

болота унылого отшельнического существования и скверных привычек, помните? Вы — такая милая, добрая, скромная женщина, так позвольте же мне любить Вас. Как часто, едва ли не раз в месяц, я входил в Вашу комнату и без долгих слов просил повременить с квартирной платой! И Вы ни разу меня не унизили, всегда я слышал в ответ только «да, пожалуйста». Как я Вам благодарен и как рад, что могу сказать об этом! Что поделывают и как поживают Ваши дочери? Старшей-то, должно быть, скоро под венец. А барышня Хедвиг? По-прежнему служит в страховом обществе? Сколько же у меня вопросов! Да каких глупых, верно? Ведь уехал я от Вас всего два дня назад! У меня такое чувство, милая, уважаемая г-жа Вайс, будто я жил у Вас много-много лет — таким приятным, спокойным и долгим представляется мне это время. Да возможно ли Вас не полюбить? Вы неизменно повторяли, что мне, человеку столь молодому, стыдно быть таким сонным увальнем, — ведь, когда бы Вы ни зашли, я вечно лежал или сидел в своей темной комнате. Ваше лицо, Ваш голос, Ваш смех были мне утехой. Вы вдвое старше меня. И забот у Вас вдесятеро больше, и все-таки для меня Вы всегда были молоды, и когда я жил у Вас, а тем более теперь. Ну почему, почему я так редко с Вами беседовал? Кстати, я ведь остался Вашим должником, верно? — и, честное слово, рад этому. Внешние связи помогают сохранить связи внутренние. Прошу Вас, никогда не сомневайтесь в моем уважении к Вам. Впрочем, довольно испытывать Ваше терпение моими благоглупостями. Живу я здесь в красивом особняке и под вечер в погожие дни угощаюсь кофе в садовой беседке. Патрон сейчас в отлучке. Дом, можно сказать, стоит на зеленом холме, у его подножия рядом с гужевым трактом, по самому берегу озера, проходит железная дорога. Комната у меня высоко в башенке, очень уютная, так что устроился я прямо по-королевски. Хозяин как будто человек славный, хотя немного сумасброд. Возможно, когда-нибудь мы с ним и повздорим. Но мне бы не хотелось. В самом деле, нет. Я предпочитаю жить в мире.

Всего Вам доброго, г-жа Вайс. Я берегу в памяти Ваш милый, бесценный образ, в рамку его не заключить, но и забыть тоже нельзя.

Йозеф, улыбаясь, сложил листок и сунул в конверт. При воспоминании о г-же Вайс у него теплело на душе, почему — он и сам толком не знал. Вот и сейчас: написал письмо, а ведь — памятая о впечатлении, какое он произвел на эту женщину своей персоной, — вряд ли уместно обращать к ней столь путаное и чуть ли не пылкое послание, да она и не ждет ничего подобного. Неужели это случайное знакомство так подействовало на него? Или он вообще любитель преподносить сюрпризы и пленять? Тем не менее, пробежав письмо критическим взглядом, Йозеф счел его вполне удачным и, поскольку все равно пора было идти на почту, отправился в путь.

Среди деревни перед самым его носом неожиданно вырос какой-то молодой человек, с ног до головы перемазанный сажей, и, весело улыбаясь, протянул ему руку. Йозеф разыграл удивление, так как впрямь не мог сообразить, где и когда в прошлой своей жизни встречал эту чумазую фигуру.

— Ты тоже здесь, Марти? — воскликнул парень, и только теперь Йозеф узнал его: это был один из товарищей по недавней военной службе.

Они поздоровались, но Йозеф, сославшись на якобы неотложные дела, тотчас же рас прощался.

«Н-да, военная служба, — думал он, продолжая свой путь, — как она сваливает в одну кучу людей изо всех мыслимых сфер жизни, да еще норовит задеть у каждого одно и то же больное место! Будь ты хоть каких благородных кровей — все равно, если ты молод и мало-мальски здоров, придется тебе в один прекрасный день волей-неволей расстаться с прежним изысканным окружением и делать общее дело с первым встречным — тоже молодым — крестьянином, трубочистом, рабочим, приказчиком, а глядишь, и с лоботрясом. Общее дело... Да какое! Воздух в казарме для всех одинаков, он и для баронского отпрыска сойдет, ну а для ничтожного батрака лучше и быть не может. Различия в общественном положении и образовании неумолимо летят в громадную, по сей день не изученную бездну солдатской дружбы, которая царит над миром, ибо охватывает все и вся. Рука товарища всегда чиста, ей просто нельзя быть иной. Трудно — или так только кажется? — очень трудно порой стерпеть деспотию равенства, но как оно воспитывает, как учит! И братство бывает подозрительным и мелочным в малом, однако же способно быть и великим, и является таковым, ибо вбирает в себя суждения, чувства, силы и порывы каждого. Если государство сумеет направить помыслы юных в эту бездну, где целиком поместится земной шар, а уж отдельная страна тем паче, — значит, со всех сторон, на всех его рубежах поднимутся твердыни, живые, имеющие руки, ноги, головы, глаза, память и сердце, а потому неодолимые. Молодежи и впрямь никак нельзя без суровых испытаний...»

Тут Йозеф оборвал свои раздумья и даже засмеялся: что речи у него, что мысли — ни дать ни взять полководец! Скоро он опять был дома.

До службы в армии Йозеф работал на резиновой фабрике. И теперь, вспоминая досолдатские времена, мысленно видел длинное ветхое здание, черный щебень дорожки, тесную контору и строгое очкастое лицо начальника. Взяли его тогда, что называется, на время, за неимением лучшего. Словно Йозефово «я» было вроде как хвостиком, эфемерным придатком, на миг завязанным узелком. Он еще только поступал на должность, а перед глазами уже отчетливо возникла картина расставания с оной. Даже фабричный ученик во всем давал ему фору. Йозеф вынужден был поминутно советоваться с этим сопливым мальчишкой. Правда, самолюбие его от этого ни капельки не страдало. Он ведь уже многое навидался. И работал без интереса, поневоле сознаваясь себе, что растерял кой-какие весьма необходимые знания и навыки. Другие люди все на лету схватывают, а он над тем же самым буквально до седьмого пота бьется, пока усвоит. А что было делать?! Одно оставалось утешение — работа, слава богу, временная. Жил Йозеф на квартире, хозяйка которой — востроносая и тонкогубая старая дева — занимала странноватую светло-зеленую комнату. На этажерке — несколько книг, старых и новых. Барышня, похоже, была идеалисткой, но не пламенной, а скорее наоборот, холодной как

ледышка. Для Йозефа не долго оставалось тайной, что она усердно вела любовную переписку, а корреспондентом ее, как выяснилось из пространного послания, ненароком забытого однажды на круглом столике, был переехавший в Граубюнден печатник или, может, чертежник — он теперь уже толком не помнил. Тогда он быстро прочел письмо, чувствуя, что большого греха в том нет. Впрочем, письмо вовсе и не заслуживало чтения украдкой, его спокойно можно было расклейте на городских афишных тумбах, так мало было в нем секретов и фраз, непонятных для постороннего. Оно было составлено в подражание книгам, какие читает весь мир, и содержало преимущественно заметки о путешествиях, графически четкие и выпуклые. Ведь мир так прекрасен, стояло там, главное — не ленись, обойди его пешком. Затем следовало описание неба, облаков, холмов, косуль, коров, бубенчиков и гор. И до чего же все это было важно! У себя, в крохотной задней комнатке, Йозеф только и делал, что читал. Едва он входил в эту клетушку, как в голове сразу начинали мельтешить обрывки прочитанного. В ту пору он читал один из огромных романов, которые можно мусолить месяцами. Питался он в пансионе для учеников технического и торгового училищ. Даже хоть как-то поддерживать с молодыми людьми беседу и то стоило ему большого труда, поэтому за столом он чаще всего молчал. О, какое он испытывал унижение! Ведь и здесь он был этакой полууторванной пуговицей, пришивать которую себе дороже: сюртук-то недолго проносится. Да, Йозефово существование в точности напоминало сметанный на живую нитку сюртук с чужого плеча. Неподалеку от города располагался окружлый, не слишком высокий холм, покрытый виноградниками и увенчанный шапкою леса. Вполне недурственное место для прогулок. Йозеф взял за правило проводить там воскресные утра и, отдохвая, всякий раз погружался в далекие, до боли прекрасные мечты. Внизу, на фабрике, обстояло отнюдь не так прекрасно, хотя весна уже вступила в свои права и принялась наряжать деревья и кусты маленьками душистыми чудесами. Как-то раз начальник основательно отчитал Йозефа, прямо в пух и прах разнес, даже обманщиком выругал, а за что? Опять за эту самую леность ума. Ведь по недомыслию можно нанести торговому предприятию серьезный ущерб. Если, к примеру, плохо считать или же — что самое ужасное — не считать вовсе. Йозефу было весьма трудно проверить начисление процентов, сделанное в английских фунтах. Ему попросту недоставало знаний. И вот, вместо того чтобы открыто признаться в этом — как же, стыдно! — он, не проверив по-настоящему счет, поставил под ним подтверждение. То есть приписал карандашом возле заключительного итога букву «М», бесспорно и неопровергимо констатируя тем самым правильность документа. В этот же день все вышло наружу: один недоверчивый вопрос принципала — и внезапно стало ясно, что проверка — чистой воды жульничество и что Йозефу совершенно не по силам произвести в уме подобные расчеты. Тут были как-никак английские фунты, а с ними Йозеф абсолютно не умел обращаться. Начальник был вне себя. Йозеф, мол, вполне заслуживает, чтобы его с позором выгнали. Если он чего-то не понимает, это еще не обман, а вот если врет, будто понимает, так это уже воровство, иначе не назовешь. И Йозеф должен бы от стыда сквозь землю провалиться. О-о! У него тогда со страху едва не сделался разрыв сердца. Будто черная, едкая волна захлестнула все его существование. Собственная душа — как он всегда полагал, не столь уж и дурная — тисками сдавила его. Он так дрожал, что цифры, вышедшие в тот миг из-под его пера,

оказались впоследствии необычайно странными, кривобокими, огромными. Но минул час, и Йозеф опять был наверху блаженства. Он шел на почту, погода была чудесная, он шел себе и шел, и вдруг ему показалось, будто все кругом целует его. Крохотные клейкие листочки как бы слетались к нему ласковым пестрым роем. Прохожие, совершенно обычновенные люди, выглядели прямо-таки красавцами — ну хоть на шею им бросайся. Исполненный ликования, он заглядывал во все сады, смотрел в небесную вышину. Как чисты и прекрасны были свежие белые облака! А сочная, милая глазу синева! Недавний ужасный инцидент покуда не забылся, Йозеф сконфуженно прятал его в себе, но он уже превратился в нечто беззаботно-горестное, в нечто привычно-роковое. «Выходит, — все еще слегка дрожа, думал он, — чтобы я искренне возрадовался божьему миру, надо подстегивать меня унижениями?» Рабочий день окончился, и Йозеф не спеша направил свои стопы к небезызвестной сигарной лавочке. Содержала ее женщина, по-видимому сговорчивая, даже наверняка сговорчивая. Вечерами Йозеф привычно усаживался в лавке на стул, закуривал сигару и болтал с хозяйкой. Скоро он заметил, что нравится ей. «Раз эта женщина неравнодушна ко мне, то, появляясь здесь регулярно, я доставлю ей хоть маленько, но удовольствие», — решил он да так и сделал. Хозяйка рассказывала ему о своем детстве и юности, а иногда вспоминала и кой-какие эпизоды из более поздних времен, и лиричные, и неприличные. Она была уже не первой молодости и довольно-таки аляповато накрашена, но глаза светились добротой, а рот... «как часто, наверное, его искажало страдание», — мысленно говорил Йозеф и неизменно держался с нею почтительно и вежливо, как будто такое поведение разумелось само собой. Лишь однажды он погладил ее по щеке и заметил, что ей это очень приятно, а в следующий миг она засияла краской, губы дрогнули, словно желая сказать: «Слишком поздно, мой друг!» Прежде она недолгое время работала официанткой, но какое это имело значение — ведь прошла всего неделя-другая, и приданок — то бишь Йозефа — отsekli, целиком и полностью. Невзирая на инцидент с английской валютой, патрон на прощанье вручил Йозефу денежную награду и пожелал ему удачи на военной службе. Теперь остается только сесть в поезд и двинуться в путь по околодованной весною земле, а что будет дальше, один бог ведает, ибо отныне ты — всего лишь безликое существо по имени солдат, которому выдано обмундирование, патронташ, штык, настоящая винтовка, кепи и тяжелые походные башмаки. Ты больше не принадлежишь себе, ты просто подневольный объект муштры. Спишь, ешь, выполняешь гимнастические упражнения, стреляешь, маршируешь и делаешь короткие передышки, опять-таки согласно предписаниям устава. Чувства и те находятся под неусыпным надзором. Первое время кости, кажется, готовы сломаться, но мало-помалу тело крепнет, коленные суставы становятся как стальные шарниры, голова освобождается от мыслей, плечи и руки привыкают к винтовке, неразлучной спутнице солдат и новобранцев. Во сне Йозефу слышатся слова команд и треск выстрелов. И так целых два месяца, это не вечность, но порой он с ужасом думает, что конца не будет.

Однако при чем тут все это — ведь теперь он живет в доме у г-на Тоблера!

Два-три дня — срок не очень-то долгий. Даже в комнате толком освоиться не успеешь, а уж в мало-мальски солидном доме тем паче. Добавим еще, что Йозеф был порядочный тугодум — по крайней мере он так воображал, а фантазии обыкновенно не лишены разумной основы. Тоблеровский дом состоял к тому же из двух половин, жилой и деловой; проникнуть в суть обеих — вот что было первейшим долгом Йозефа. Там, где семья и дело соседствуют настолько близко, что, можно сказать, физически соприкасаются, нельзя досконально ознакомиться с первой и проигнорировать второе. Функции человека, который служит в таком доме, не сосредоточиваются на чем-то одном, а охватывают все и вся. И рабочее время у него опять-таки точно не расписано — порой приходится работать до глубокой ночи, порой среди дня внезапно наступает перерыв. Имеешь удовольствие пить после обеда в беседке кофе в обществе женщины, притом далеко не дурнушки, — так будь любезен не сердись, ежели после восьми вечера тебе вдруг поручат какую-нибудь спешную работу. Вкусно обедаешь, к примеру, как Йозеф, — изволь за это стараться вдвойне. А уж раз тебе дозволено за работой курить сигары, негоже ворчать, когда жена патрона без долгих церемоний обращается к тебе с просьбой сделать что-то по хозяйству или для семьи, пусть даже тон этого обращения скорее приказной, чем робко-просительный. Разве жизнь состоит из сплошных радостей, похвал и комплиментов? И у кого хватит дерзости требовать от мира лишь мягких подушек, чтоб повалиться на них в свое удовольствие, не задумываясь о том, что бархатные, шелковые, набитые мягкайшим пухом подушки стоят денег? Но Йозефу такое и в голову не приходит. Не забывайте, у него отродясь не было больших денег.

Г-же Тоблер он показался не совсем обычным, даже незаурядным, хотя ничего, ну ровно ничего хорошего она в нем не увидела. В своем темно-зеленом, поношенном и облезлом костюме он производил довольно-таки смехотворное впечатление, да и в его манере держаться она пожелала усмотреть нечто забавное и в определенном смысле была права. Забавным был и его нерешительный вид, и явно недостаточная самоуверенность, забавны были и его ухватки. Правда, с другой стороны, следует отметить, что г-жа Тоблер, чистокровная брюггерша, с легкостью именовала забавным все, что хоть немного шло вразрез с ее жизненными принципами. А раз так, не будем попусту возмущаться, что эта женщина сочла этого молодого человека забавным; расскажем лучше, о чем они беседовали. Перенесемся же вновь в садовую беседку, вечером, в пять часов.

— Прекрасный нынче день, — сказала г-жа Тоблер.

— Да-да, в самом деле прекрасный, — в свою очередь изрек помощник. Не вставая из-за стола, он полуобернулся и устремил взгляд в голубоватую даль. Все озеро было бледно-голубое. Мимо как раз плыл прогулочный пароход, слышалась музыка. Можно было разглядеть даже платочки, которыми махали пассажиры. Дым парохода улетал за корму и таял в воздухе. Горы на том берегу едва проступали сквозь дымку, которую сказочно-волшебный день набросил на озеро, и казались сотканными из шелка. Куда ни глянь — все вокруг было голубым, даже зелень поблизости и красные крыши как бы подернулись голубизной. В ушах слегка звенело, словно весь воздух, все это прозрачное раздолье тихонько напевало. И звон тоже мнился глазам и слуху чуть ли не голубым. А кофе-то

опять какой вкусный! «Отчего, когда я пью этот необыкновенный кофе, мне всегда вспоминается родительский дом и детство?» — подумал Йозеф.

Хозяйка завела речь о прошлогоднем отдыхе на даче у Фирвальдштеттского озера. В этом году, сказала она, такого, к сожалению, не будет. Даже думать нечего! В конце концов, здесь ведь тоже вполне хорошо. Собственно, на что им теперь дача — при таком-то доме. В сущности, люди, как правило, весьма нескромны, им вечно хочется чего-то еще, и это, конечно, вполне естественно (Йозеф кивнул), но порой все это необычайно похоже на дерзость.

Она засмеялась. «Как странно она смеется, — подумал помощник. — Какой-нибудь упрямец при желании мог бы изучать по этому смеху географию. Его звучание точно говорит, откуда эта женщина родом. Это смех через силу, он слетает с губ не вполне естественно, будто раньше слишком педантичное воспитание постоянно держало его некоторым образом в узде. Но он приятен для слуха, женствен и даже чуточку фриволен. Так смеяться позволительно лишь очень порядочным женщинам».

Между тем г-жа Тоблер давно продолжала свой рассказ, все о той же прямо-таки сказочно-прекрасной и благодатной даче. О том, как некий молодой американец что ни день катал ее на лодке по озеру. Настоящий кавалер! И потом, для замужней женщины, вроде нее, как-никак ново и увлекательно побывать неделю-другую одной, да еще в таком восхитительном месте. Без мужа и без детей. Притом даже речи нет о каком-либо нарушении приличий. День-деньской мечтаешь, лакомишься разными вкусными вещами и нежишься в холодке, под прелестным раскидистым каштаном, наподобие того, что рос возле прошлогодней дачи. Вот это дерево! Она частенько в грезах видит его и себя под ним. А еще у нее была маленькая белая собачка, она всегда брала ее в постель. Милейшее чистенькое созданье. Этот песик еще больше укреплял в ней обманчивое, пленильное ощущение, что она дама, самая настоящая дама. Позже собаку пришлось отдать.

— Мне пора вернуться к делам, — сказал Йозеф, вставая.

О, неужели он такой старательный?

— Обязанности положено выполнять, вот и все. — С этими словами Йозеф удалился.

В конторе его встретило зримо-незримое явление — часы-реклама. Он сел за стол и занялся корреспонденцией. Пришел почтальон с уведомлением о наложенном платеже; сумма была незначительная, и Йозеф расплатился из своего кармана. Потом он составил несколько писем касательно часов-рекламы. Чего только не приходится делать ради этих часов!

«Ну точь-в-точь маленький или даже большой ребенок, эти часы, — думал помощник. — Строптивый ребенок, который день и ночь нуждается в самоотверженном уходе и даже «спасибо» за это не скажет. А успешно ли, по правде говоря, продвигается начинание, растет ли ребенок? Не так уж это и важно. Изобретатель любит собственные изобретения,

вот и Тоблер прикипел душой к своему детищу. Но что думают о его замысле другие люди? Замысел должен захватывать, должен ошеломлять, иначе его трудно осуществить. Что до меня, я твердо верю в возможность его реализации, и верю потому, что это мой долг, ведь мне за это платят. Кстати, любопытно, как обстоит с моим жалованьем?»

В самом деле, по этому пункту пока не было достигнуто никакой договоренности.

До воскресенья все шло спокойно. Да и что могло произойти? Йозеф был исполнителен и старался держаться бодро-весело. Да и с какой стати было особенно унывать, ведь пока все у него ладилось. На военной-то службе его тоже не баловали. День ото дня он глубже и глубже вникал в суть часов-рекламы и полагал уже, что полностью разобрался в них. Правда, два векселя на четыреста франков каждый еще не оплачены — ну и что? Срок оплаты отодвинули на месяц, только и всего; Йозефу было даже весьма приятно с разрешения патрона написать держателю обоих этих векселей: «Прошу Вас, наберитесь еще немного терпения. С финансовым обеспечением моих патентов вышла маленькая задержка. В самое ближайшее время я получу возможность погасить существующие задолженности».

Ему пришлось составить не одно такое письмо, и он радовался той легкости, с которой сумел овладеть стилем коммерческой переписки.

В деревне он уже изучил каждый второй закоулок и на почту всякий раз шел с огромным удовольствием. Было два пути: один вдоль озера, по широкому тракту, второй — через холм, мимо фруктовых садов и крестьянских усадеб. Обыкновенно он отдавал предпочтение второму. И не видел во всем этом никаких сложностей.

В воскресенье Тоблер вручил ему хорошую немецкую сигару и пять франков на карманные расходы, чтоб он «мог себе кое-что позволить».

Особняк был очень красив в ярком солнечном свете. «Счастливый, поистине счастливый дом», — думал Йозеф. Садовой тропинкой он спустился к озеру, помахивая на ходу купальными трусами, не спеша разделся в обветшалой купальне, сквозь щелистые стены которой внутрь пробивались солнечные лучи, а потом бросился в воду. Заплыл он далеко — так хорошо было на душе. Ведь у всякого купальщика, если он, конечно, не тонет, на душе покойно и хорошо. Йозефу чудилось, будто ясная, теплая, гладкая поверхность озера набухает и круглится. Вода была сразу свежей и тепловатой. То ли над нею скользил ветерок, то ли какая-то птица пролетела у Йозефа над головой, высоко в поднебесье. Проплывая вблизи небольшой лодки, он увидел одинокого рыболова, который мирно и благостно отдавался воскресному отдохновению — тихонько покачиваясь на волнах, удил рыбу. Какая свежесть кругом, какая пронзительная ясность! Твои чуткие руки режут эту чистую, добрую, текучую стихию. Каждый толчок ногами бросает тебя вперед и вперед в этой дивной, глубокой влаге. А снизу тебя поддерживают теплые и прохладные потоки. Чтоб остудить водою азарт в груди, на миг погружаешься с головой, задержав дыхание, закрыв рот и глаза, — надо всем телом вобрать эту восхитительность. Когда плывешь, хочется кричать, или просто воскликнуть что-то, или засмеяться, или хотя бы что-то

сказать — да ведь так и делаешь... А берега — их шумы и шорохи, и зыбкие силуэты вдали. И краски, дивно яркие в такое вот воскресное утро. То плещешься в волнах — только брызги летят! — а то как бы висишь в воде, будто гимнаст на трапеции, вытянувшись струной и все время двигая руками. Утонуть просто невозможно, немыслимо. Зажмуришь напоследок глаза, окунешь лицо в текущую, зеленую, плотную непостижимость и — плывешь назад.

Чудесно!..

К обеду пришли гости.

Дело с ними обстояло так. Предшественником Йозефа на службе был некто Вирзих, который очень полюбился Тоблерам. Они обнаружили в нем человека весьма преданного и высоко ценили его усердие. Вирзих был педантичен, но только на трезвую голову. Пока был трезв, он обладал всеми, буквально всеми добродетелями служащего. До крайности любил порядок, разбирался как в коммерции, так и в правовых вопросах, был прилежен и энергичен. В любое время умел достойно и солидно заменить патрона чуть ли не во всех обстоятельствах. А вдобавок имел аккуратный почерк. Смекалистый и любознательный, этот Вирзих с легкостью вполне самостоятельно вел дела своего кормильца, к полному удовольствию последнего. Книги он содержал прямо-таки образцово. Однако временами все эти качества напрочь улетучивались, — а именно во хмелю. Вирзих был уже не первой молодости — лет около тридцати пяти, — а как раз в таком возрасте определенные страстишки (если их носитель до той поры не научился их обуздывать) обыкновенно приобретают чудовищный размах и являются собой весьма жуткую картину. Употребление алкоголя регулярно превращало этого человека в дикое животное, с которым, понятно, ничего нельзя было поделать. Г-н Тоблер неоднократно выставлял его за дверь, приказывая собирать вещи и больше не попадаться ему на глаза. Вирзих уходил, с бранью, выкрикивая оскорблений, но, опамятившись, с покаянным видом, точно пришел на заклание, вновь появлялся на пороге, который день-другой назад в хмельном бесчинстве и безумии отчаянно клялся более не переступать. И как ни странно, Тоблер каждый раз прощал его. Читал ему в таких случаях резкую нотацию, какими принято вразумлять невоспитанных детей, а потом разрешал остаться: мол, забудем прошлое и попробуем начать сначала. Так повторялось раза четыре или пять. Было в Вирзихе какое-то неотразимое обаяние. Это особенно бросалось в глаза, когда он открывал рот, чтобы высказать просьбу или извиниться. В подобных обстоятельствах он выглядел до того подавленным и несчастным, что Тоблеры таяли и прощали его, сами не сознавая почему. Еще добавим сюда странное и, похоже, весьма глубокое впечатление, какое этот Вирзих умел производить на особ женского пола. С довольно большой уверенностью можно предположить, что и г-жа Тоблер не устояла перед этими диковинными чарами, перед этим неизъяснимым шармом. Она уважала Вирзиха, пока он оставался спокоен и разумен, а к грубияну и пьянице испытывала совершенно непонятное сострадание. Уже сама его наружность была прямо создана для женских глаз. Резкие, мужественные черты — природная бледность делала их словно бы еще резче и строже, — черные волосы, большие, глубоко посаженные, темные глаза невольно вызывали симпатию, как и

суховатая сдержанность, присущая его повадке и манерам. Все это вместе взятое обыкновенно оставляет впечатление сердечной доброты и твердости характера — двух качеств, перед коими ни одна чувствительная женщина устоять не в силах.

Вот Вирзих каждый раз и прощали. Замечания жены, сделанные за обедом в легком, веселом, лирическом тоне, никогда не остаются совершенно без последствий, тем более в этом доме — ведь Тоблер и сам «всегда любил этого горемыку». По случаю восстановления сына в должности мать Вирзиха регулярно наведывалась в особняк, чтобы поблагодарить хозяев. Ее здесь тоже привечали. Между прочим, люди, которым ты дал почувствовать свою власть и влияние, неизменно тебе симпатичны. Достаток и бюргерское самодовольство весьма не прочь унизить других, хотя нет, точнее будет сказать, они любят свысока взглянуть на униженных, а подобному высокомерию нельзя отказать как в некоторой благожелательности, так и в некоторой жестокости.

Однажды вечером Вирзих все-таки зашел слишком далеко. Вдоволь насижившись в усердно посещаемом всякой шушерой (в том числе и женщинами дурного поведения) придорожном трактире «Роза», он совершенно пьяный явился домой и принялся буйнить на крыльце, громогласно требуя, чтобы ему открыли. Никто, конечно, и не подумал этого сделать, тогда Вирзих пустил в ход багор, который притащил с собой, разбил дверное стекло и вдобавок изрядно покорежил решетку. Мало того, в ярости и умопомрачении он заплетающимся языком грозился «спалить это логово» и осипал своих благодетелей постыдной бранью, причем орал так, что его наверняка слышали не только ближайшие соседи, но и все прочие окрестные жители. Как и всякому до бесчувствия пьяному, физических сил ему было не занимать, и он едва не вышиб дверь. Замок и задвижка уже готовы были поддаться, когда г-н Тоблер, у которого, видимо, наконец лопнуло терпение, распахнул дверь изнутри и, обрушив на пьяницу град палочных ударов, сбил его с ног. В ответ на совершенно недвусмысленный приказ Тоблера немедленно убираться отсюда, а не то палка опять возьмется за дело, Вирзих стал на четвереньки и кинулся вниз по склону к садовой калитке. Дорожка была освещена луною, так что собравшиеся на крыльце отчетливо видели нелепые, судорожные движения выпивохи: несколько раз он падал наземь, снова вставал и в конце концов, точно неповоротливый медведь, вывалился из сада на тракт и окончательно исчез из виду.

Через две недели после этого ночного происшествия Тоблер держал в руках пространное извинительное послание Вирзиха, где этот лиходей прямо-таки в классических выражениях клятвенно обещал исправиться и умолял г-на Тоблера в последний раз взять его обратно, ибо в противном случае он, Вирзих, будет ввергнут в горчайшую нужду. Как сам он, так и его старушка мать заклинают вновь, в самый последний раз, вернуть им былое благорасположение, каковое он, как ни больно ему в том признаться, столь часто легкомысленно ставил под удар. Вирзих — так завершалось послание — до того сильно тоскует по дому, по всему семейству, ставшему для него родным и близким, по месту былых трудов, что принужден говорить себе: либо ему дозволена радость уповать на возрождение всего этого, либо возврат навеки заказан и в удел ему остается лишь отчаяние, угрызения совести, стыд и горечь — третьего не дано.

Но раскаяние пришло слишком поздно. Возврат Вирзиху был действительно заказан: ему уже сыскали замену. Наутро после той безобразной ночной сцены Тоблер съездил в посредническое бюро и взял на работу Йозефа. А вышеупомянутое послание было доставлено в тот самый день, когда Йозеф прибыл в тоблеровский дом.

Что же до воскресных гостей, то ими были не кто иные, как Вирзих и его матушка.

Освеженный купанием, Йозеф сердечно приветствовал своего предшественника и отвесил легкий поклон его старой матери. Конечно, от помощника не укрылось, что настроение за обеденным столом царило весьма подавленное. Разговаривали мало, лишь изредка перебрасываясь общими фразами. Что-то безотрадное, вымученное окутывало тусклым флером и белую скатерть, и аппетитно пахнущие блюда, и лица людей. Г-н Тоблер делал «донельзя большие глаза», но в остальном был весел и благодушно-снисходительным тоном потчевал гостей. После купания любой обед в охотку, тем паче на свежем воздухе. Под таким синим небом что угодно съешь с аппетитом, а уж нынешний обед — хоть и незатейливый, показался Йозефу просто восхитительным. Другим он как будто бы тоже пришелся по вкусу, и не в последнюю очередь старой г-же Вирзих, которая нынче напустила на себя великосветский вид. Любопытно, где живет эта невзрачная дама и как? В каких комнатах, в каком окружении? Платье на ней поношенное, а уж худа — в чем душа держится! Она выглядела так, словно от роду экономила на всем и вся и, несмотря на это, еле-еле сводила концы с концами; рядом с самоуверенной, цветущей, рожденной и выросшей в тепле и холе г-жой Тоблер ее убожество особенно бросалось в глаза. Г-жа Вирзих и г-жа Тоблер. Да-а, уж если существуют в мире крайности, то здесь перед нами крайности самой чистейшей воды.

Г-жа Тоблер всегда чуточку высокомерна, но как под стать очертаниям ее лица и фигуры этот неизменный, едва уловимый налет высокомерия. И стирать этот налет совершенно незачем, ведь он — неотъемлемая часть ее облика, как неизъяснимое волшебство мелодии народной песни. Сколь ни тиха и нежна такая песня, г-жа Вирзих, как видно, прекрасно ее слышала и понимала. Как убого звучал один напев и как полнозвучен был другой!

Г-н Тоблер налил всем красного вина. Хотел налить и Вирзиху, но старческая, костлявая рука матери быстро прикрыла рюмку сына.

— Ба! А сейчас-то почему нельзя? Надо же и ему немножко выпить! — воскликнул Тоблер.

И тут в глазах старой женщины вдруг блеснули слезы. Все это заметили и встрепенулись. Вирзих хотел что-то шепнуть матери, но какая-то неодолимая, каменная сила сковала ему язык. Он сидел немой как рыба, уставясь в немудрящую еду у себя на тарелке. Г-жа Вирзих отняла руку, точно заявляя, что ей, мол, теперь поневоле совершенно безразлично, будет ли сын пить, нет ли. Ее жест говорил: да пожалуйста, наливайте! Все и так погибло! Вирзих пригубил рюмку — казалось, им владел необоримый страх перед отведыванием зелья, каковое лишило его столь удобного места в жизни и в мире.

О г-жа Вирзих, заплаканные глаза отнюдь не во благо напускным великосветским манерам! Ты твердо решила держаться изысканно, и как же сильно завладела тобою печаль. Стариковские руки твои, как и чело, изборожденные морщинами, изрядно дрожат. А что произносят твои губы? Ничего? Ай-ай-ай, матушка Вирзих, в приличном обществе молчать негоже. Видишь, видишь, как на тебя смотрит некая дама?

Г-жа Тоблер чуть искоса смотрела на г-жу Вирзих, тревожно и холодно, меж тем как пальцы ее гладили кудри младшей дочки, которая сидела рядом. Поистине благополучная женщина! С одного боку ее согревала детская нежность и доверчивость, с другого — веяло чужой болью. И нежность, и печаль были для нее как ласка. Она тихонько сказала что-то, утешая г-жу Вирзих, та же в ответ лишь отрицательно, но смиренно покачала головой. Трапеза подошла к концу. Г-н Тоблер открыл свой портсигар и угостил мужчин. Они закурили. Какое солнце, как чудесно вокруг — горы, озеро, луга! И неловкая, настороженная беседа этого маленьского общества. Н-да, близких надо щадить — тоже ведь люди! Вот на что недвусмысленно намекала мина хозяйки дома. Но безмолвный намек на желание пощадить как раз и был беспощаден. Уничтожал.

Потом женщины заговорили о маленьких Тоблерах; обе, похоже, рады были найти тему, которая всецело исключает возможность обидеть собеседника. Да и вышло так само собою. Просто на минутку отвлеклись. Временами старая женщина задерживала взгляд на Йозефе, оценивала фигуру, лицо, манеры помощника, как бы отыскивая его слабости и достоинства и мысленно сравнивая его с сыном. Мальчики Тоблер скоро убежали играть в сад, девочки пошли за ними, и взрослые остались за столом одни. Появилась служанка с деревянным подносом и начала убирать посуду. Все встали. Тоблер велел Йозефу «сходить за стеклянным шаром», и тот отправился выполнять распоряжение.

Стеклянный шар был гордостью всех обитателей тоблеровской виллы. Он висел на цепочках в изящной чугунной подставке и был разноцветным, поэтому картины окружающего мира, как бы громоздясь одна на другую в круглой перспективе, становились в нем то зелеными, то голубыми, то коричневыми, то алыми. Величиною шар был немногим больше человеческой головы, но вместе с подставкой весил добрых фунтов восемьдесят или девяносто, и нести его было тяжело. В дождливую погоду его никогда не оставляли под открытым небом. Так все время и носили — в дом и из дома, в дом и из дома. Если он отсыревал, г-н Тоблер очень сердился. Мокрый шар причинял ему прямотаки физические страдания — ведь иные люди порой обращаются с бездушными вещами как с чем-то вполне живым и требуют того же от других. А поскольку Йозеф уже имел случай подметить слабость Тоблера к разноцветному шару, он со всех ног кинулся за этим стеклянным красавцем.

Но вот желание Тоблера было исполнено, патрон удовлетворил свою ясногородную прихоть и повеселел, а Йозеф поспешил улизнуть от остальных в свою башенную светлицу. Какая тишина и покой! Здесь, наверху, он как бы обретал свободу, от чего — он и сам толком не знал. Но ему достаточно было просто испытывать это чувство; оно явно не лишено оснований, корни его как-то и где-то спрятаны, думал Йозеф, только все это не

имеет теперь ни малейшего значения. Вокруг словно переливалось и играло какое-то золотистое сияние. На миг он бросил взгляд в зеркало: ничего, совсем еще молодой, не то что Вирзих. Йозеф невольно рассмеялся. Его вдруг потянуло взять в руки фотографию покойной матери. Вон она, на столе стоит. Так почему бы не взять ее и не рассмотреть? Он, как ему мнилось, довольно долго глядел на портрет, потом поставил его на прежнее место и достал из кармана пиджака другую фотографию, поновее. На ней была изображена ученица балетной школы, девушка, с которой он познакомился «в большом городе». Ах этот далекий, многолюдный город! Эта величественная живая картина — она же начисто стерлась из памяти, давным-давно забылась! Мысль об этом вновь вызвала у Йозефа невольную улыбку. Он с важным видом прошелся по комнате, разумеется дымя сигарой. В самом деле, неужто никак не обойтись без этой штуковины во рту? Воздух с горных круч и с озера потоками свежести омывал стены его жилища — чудесно! И здесь обитал Вирзих? Этот человек с лицом страдальца? Йозеф высунул голову в окно, на простор воскресного послеполудня, и глубоко вздохнул. А у меня есть пять франков на карманные расходы, и я могу высунуть голову в такое вот роскошное окно!

Между тем внизу, в конторе, дела шли отнюдь не роскошно, а скорее тягостно. Тон, в каком беседовали г-н Тоблер и его бывший сотрудник, был очень и очень тягостный, даже гнетущий.

— Вы же отлично понимаете, — говорил Тоблер, — что о возобновлении наших былых отношений пока не может быть и речи. Разрыв произошел по вашей вине, а не по моей, я бы с удовольствием оставил вас у себя. И я не вижу причин отсылать Марти, он вполне хороший работник. Мне очень жаль, Вирзих, поверьте, но вы один во всем виноваты. Никто вас не заставлял обращаться со мною, вашим хозяином, как с мальчишкой. Так что впредь решайте свою судьбу сами. Со своей стороны я по мере возможности помогу вам получить другое место. Еще сигару? Прошу вас, угощайтесь.

— Неужели вправду ничего нельзя изменить?

— Нет, нельзя, слишком поздно. Кстати, если вы припомните, что орали мне в ту прелестную ночь, то поймете, что отныне между нами все кончено.

— Но, господин Тоблер, это все водка, а не я!

— Э-э, бросьте! Водка, а не вы. В том-то и дело. Сколько раз я думал: это не он. Однако же это были именно вы, собственной персоной. Люди отнюдь не двояки, иначе жить на земле было бы чересчур уж просто и удобно. Если каждый, наделав ошибок, примется твердить: «Это не я», — как порядок, так и беспорядок начисто потеряют смысл! Нет, ей-ей, всяк таков, как он есть. Я видел вас в двух обличьях. Думаете, весь мир обязан нянчиться с вами, как с младенцем, как с комнатной собачкой? Вы взрослый человек и обязаны знать, как себя вести. Я не вижу необходимости принимать в расчет потаенные страстишки или как там называются все эти фокусы, о которых толкуют философы. Я — деловой человек и отец семейства, и мой долг — не допускать в свой дом сумасбродство и непристойность. Вы были в меру прилежны — так зачем же вам приспичило поливать

меня грязью? Вы же первый поднимете меня на смех, да-да, просто-напросто поднимете на смех, и поделом, если я свалию дурака и опять приму вас на работу. Ну вот, я свое мнение высказал, и давайте кончим этот разговор.

— Значит, между нами все кончено?

— Пока да!

С этими словами Тоблер вышел из конторы в сад, где обменялся многозначительным взглядом с женой, а потом стал возле столь любезного его сердцу стеклянного шара. Закурив сигару, он безмятежно обозревал свое поместье и, сам того не ведая, являл собою в этот миг живой символ барственного отдохновения.

Вирзих, не в силах пошевельнуться, так и стоял, точно пригвожденный к полу, на том самом месте, где его застали последние слова Тоблера. Как вдруг дверь отворилась, и в контору вошел Йозеф. Секунду оба смотрели друг другу прямо в глаза. А затем сочли за благо побеседовать о развитии Тоблеровых технических идей, однако же очень скоро в беседе их стали возникать нестерпимо мучительные заминки и осечки, и в конце концов она вовсе оборвалась. Вирзих отчаянно хорохорился — пустяки, мол, ничего страшного не произошло! — и засыпал своего преемника советами и практическими указаниями, встреченными, правда, без особых восторгов.

Наконец выпили кофе, и гостям пришло время откланяться. Прощальный обмен рукопожатиями — и вот уже те, кто остался на вершине холма, провожают взглядом уходящих: два испуганных человеческих существа нерешительной походкой бредут к выходу вдоль роскошной, украшенной золочеными звездочками садовой ограды. Жалостная картина. Г-жа Тоблер опять вздохнула. Но буквально тотчас что-то ее рассмешило, и чуткое ухо могло в этот миг ясно уловить, что и вздох, и смех были одинакового тембра, одинаковой окраски.

Йозеф стоял чуть поодаль и думал: «Вот они и ушли, мужчина и старушка. Скрылись из виду, и здесь, наверху, о них уже почти забыли. Как скоро забываются манеры, жесты, поступки людей! Эти двое идут себе по пыльной дороге, торопятся, чтобы вовремя успеть на вокзал или на пристань. На долгом своем пути — десять минут пешком для побежденных и павших духом долгий срок — они едва перекинутся словом и все же будут вести беседу, очень деликатную беседу, молча, но так хорошо понимая друг друга. Беда говорит на своем, особенном языке. Сейчас они, наверно, покупают билеты, но, может, запаслись ими заранее, есть ведь и обратные билеты, и поезд с шумом подкатывает к перрону, и бедность и неуверенность садятся в вагон. Бедность — старая женщина с костлявыми, жадными руками. Нынче она пыталась поддерживать застольный разговор, как светская дама, правда, довольно безуспешно. А теперь вот едет прочь, о бок с неуверенностью, в которой, если хорошенъко присмотрится, узнает собственного сына. Ну а вагон полон веселых людей, полон воскресной публики, все поют, кричат, болтают, смеются. Молодой парень обнимает свою девушку за плечи и то и дело целует в пухлые губки. Какой страшной болью чужая радость отзывается в обиженной душе! Бедной

старушке все это нож в сердце. Хоть караул кричи. А поезд мчится вперед. О, этот вечный перестук колес! Она достает из кармана розовый платочек, чтобы никто не увидел глупых и неуместных слез, которые градом льются из ее старых глаз. Нет, в таких преклонных годах, как эта женщина, люди никак не должны плакать. Но кому и чему на этой странной земле есть дело до заповедей благоприличия? Молот бьет без разбору, вслепую, — то бедного ребенка ударит, то — запомни, женщина! — старуху. Ну вот, теперь мать с сыном добрались до места и, наверно, выходят из вагона. Интересно, какой у них дом?»

Звучный голос Тоблера оторвал его от размышлений.

— Что это вы там делаете в одиночестве? Идите-ка сюда, помогите мне допить остатки красного вина.

А немного спустя хозяин сказал:

— Да-да, с Вирзихом мы окончательно распрошались. Надеюсь, кое-кто другой сумеет должным образом оценить, что он имеет, живя здесь, наверху. Полагаю, мне не нужно говорить, кого я подразумеваю под этим другим. Вы смеетесь. Что ж, на здоровье. Но предупреждаю: если у вас на выходные, как говорится, сердце взыграет, что для молодого человека, конечно, вполне естественно, так вот извольте отправляться в город, там с этим делом просто, и даже более чем. А в моем доме — зарубите себе на носу! — я ничего подобного не потерплю. Здесь все будет прилично! Вирзих не пожелал считаться с моими требованиями, и все себе испортил, раз и навсегда.

Потом речь зашла о делах.

Прежде всего, сказал г-н Тоблер, нужны свободные деньги, это самое главное. Вот почему необходимо заинтересовать изобретениями какого-нибудь капиталиста, скажем фабриканта, чтобы сразу же начать массовый выпуск патентованных изделий. В общем, были бы деньги, а кто их даст — дело десятое. Хоть портной, ведь разбираться в технических подробностях такому кредитору незачем, это его, Тоблерова, забота.

— Пишите текст объявления.

Йозеф вытащил из кармана блокнот и карандаш. И под диктовку написал:

«Внимание!

Инженер ищет контакта с владельцами свободного капитала на предмет финансирования своих патентов. Выгодное, абсолютно безубыточное предприятие. Предложения направлять...»

— Завтра утром, когда пойдете на почту, прихватите из деревни новый пакет сигар. Большой, на пятьсот штук. Надо же что-то курить.

Вечерело.

В виллу нагрянули гости — жившая по соседству владелица паркетной фабрики и ее дочь, долговязая, веснушчатая девица. С ними и с собственной женой Тоблер затеял играть в карты, в популярную и любимую по всей стране игру. Прежде в нее играли только мужчины, но мало-помалу она вошла в моду и у женщин, а именно у так называемых женщин из общества, то есть тех, кому не приходилось день-деньской надрываться — ведь иначе им бы и в общество не попасть.

Эти три женщины — г-жа Тоблер и фабрикантша с дочерью — играли в карты превосходно; лучше и «бойчее» всех играла барышня, на втором месте была ее мать, а г-жа Тоблер — на третьем, но и она играла вполне хорошо. Барышня, когда ходила с козыря, всякий раз проявляла должное волнение, точь-в-точь как приличествовало игрокам; она и по столу била кулаком, как старый завзятый игрок, а то вскрикивала совершенно как девчонка, едва ей улыбалась удача. Барышня была вся угловатая, некрасивая. Мать ее держалась осмотрительно и благовоспитанно. Да и возможно ли пожилой, состоятельной женщине обнаруживать раздражительность?

Йозеф, следя за игрой, которой пока не имел случая научиться, думал: «Любопытно наблюдать за этими тремя женщинами. Одна — самая старшая — играет спокойно, с улыбкой. А вот моя хозяйка, госпожа Тоблер, себя не помнит. Всем существом отдается колдовским чарам карт. У нее прямо на лице написано искреннее, страстное упоение игрой. Но я бы сказал, это ее красит. Впрочем, она моя хозяйка, и мне совершенно не пристало выискивать у нее недостатки. В этом развлечении она все время как-то поддетски настороже. Но третья, эта мужеподобная барышня — господи помилуй, ну и особа! Закатывает глаза, когда делает ставку или очередной ход, и мысли у нее, поди, невесть какие странные, и ведь наверняка воображает себя самой красивой, самой умной и самой ловкой. Издали посмотришь — и то поцеловать не захочется. Распущенная девица. Вон какой у нее острый нос. Только тронь — насквозь пронзит. А какая фальшь во всем: и говорит фальшиво, и смеется фальшиво, и жалуется, и вскрикивает. Скверная, по-моему, лукавая, — моя хозяйка рядом с нею просто ангел».

Он бы еще долго рассуждал таким образом, если бы г-же Тоблер не пришла в голову мысль, которую она тотчас же и высказала вслух:

— А не прокатиться ли нам на лодке? Вечер такой чудесный, да и стоит это гроши, даже говорить нечего.

Карточная игра только что кончилась, поэтому возражений против этого плана не нашлось, и Тоблер хоть и поворчал, но согласился. Йозефа, как истинного мальчика на побегушках, отрядили в деревню и велели пригнать оттуда к вилле трехместную широкую лодку; грести надо вдоль берега, нигде не задерживаясь, время-то не ждет — скоро ночь. Внизу есть бухточка, там лодка и примет пассажиров. Помощник немедля отправился в путь. Сам Тоблер наотрез отказался участвовать в прогулке. Старая фабрикантша ехать тоже не пожелала, зато г-жа Тоблер решила покатать детей. Когда же барышня изъявила

не просто готовность поехать, но даже намерение сесть на весла, хозяйка дома тотчас ушла готовиться к увеселению.

Немного погодя все уже стояли на широких плитах старого заброшенного причала, у подножия холма, на котором красовалась тоблеровская вилла, и вот наконец появился Йозеф с долгожданной лодкой. Пассажиры начали рассаживаться по местам — первой была г-жа Тоблер, которой одного за другим передали ребятишек. Мальчики очень расшалились, и только когда им указали на опасность столь опрометчиво-неугомонного поведения, немного поутихли. Девочки сидели совершенно спокойно, крепко ухватившись руками за борта. Йозеф все это время стоял на причале и, натягивая гремящую цепь, удерживал лодку возле берега. Но вот он тоже сел, и они отправились в путь; Йозеф усердно налегал на весла, он умел грести, и неплохо, однако же лодка продвигалась вперед черепашьим шагом, — впрочем, никто и не требовал, чтоб она шла быстрее. Какой прохладой вдруг повеяло в мире! Посмотрев на детей, г-жа Тоблер наказала им вести себя примерно и не делать резких движений, а то беды не миновать — лодка перевернется, и все утонут. Все четверо детишек не оставили без внимания этот необычный материнский призыв и сидели тихо, в том числе и мальчики, поскольку теперь, среди ночного мрака и плеска воды, в медленно скользящей куда-то лодке им все же было чуточку не по себе.

— Как хорошо! — негромко сказала г-жа Тоблер. Что ни говори, а она очень удачно придумала с этой поездкой. Хоть какое-то приятное разнообразие, и муж ее много потерял, отказавшись составить им компанию. — Хотя, — добавила она, — он в этом ничего не смыслит.

Какая прохлада, какая красота!

Чуть поодаль в темной блестящей воде маячила собачья морда, это плыл вдогонку Лео, громадный тоблеровский пес. С лодки послышались возгласы — дети ласково окликали собаку. Г-жа Тоблер сидела, положив рядом шелковый зонтик. Шляпка с пером украшала ее изящную головку, руки были обтянуты длинными, за локоть, перчатками. Дочка фабрикантши трещала без умолку. Но г-жа Тоблер, которая в иных случаях тоже не прочь была поболтать, отвечала рассеянно и односложно. Природа навевала ей прекрасные, упоительные грезы, и оттого обыкновенные будничные дела и вся эта глупая болтовня как бы утрачивали всякую важность и цену. Ее большие красивые глаза светились безмятежным спокойствием, а лодка меж тем все скользила по озеру.

— Вы не устали грести? — спросила г-жа Тоблер Йозефа.

— О нет, нисколько, — ответил он.

Барышня хотела было тоже сесть на весла, но г-жа Тоблер не позволила, потому что лодка тогда поплынет слишком быстро. А в этом нет никакой необходимости — чем медленнее гребут, тем дольше продлится и без того короткая прогулка, что ее лично вполне устраивает, ведь здесь так хорошо.

Эта женщина — самая настоящая, природная буржуазка. Она росла среди полезности и чистоты, в том краю, где превыше всего ценятся практичность и благородство. Жизнь не баловала ее романтическими удовольствиями, но как раз поэтому она их любит, ибо в глубине души дорожит ими. Кое-что приходится тщательно прятать от мужа и от мира — кому охота прослыть «сумасбродной дурочкой»? — только это кое-что не умирает, а живет себе и живет тихонько в своем тесном убежище. Однажды является крохотная большеглазая оказия, взгляд у нее такой приветливый, умиленный, и тогда полузабытому позволяют согреться и ожить, правда опять-таки ненадолго. Кто может невозбранно выносить на люди свою жажду удовольствий, кому жизненные обстоятельства легко и просто предоставляют таковую возможность, тот слишком уж скоро черствеет душой и сердцем, гасит в себе животворный внутренний пламень. Нет, эта женщина понятия не имеет о колорите и тому подобных вещах, не разбирается в законах эстетики, но именно поэтому чувствует прекрасное. У нее никогда не было времени почитать книгу, полную возвышенных мыслей, да и над тем, что возвыщенно, а что низко, она ни разу не задумывалась, но сейчас высокая мысль сама посетила ее, и глубокое чувство, вызванное неведением, коснулось влажным крылом ее сознания.

Прохлада и тьма окутывали медленно плывущую лодку. Озеро было совершенно спокойно. Тишина и покой сливались с людскими ощущениями и непроглядной чернотою ночи. На ближнем берегу поблескивала россыпь огоньков, слышались какие-то шорохи, а то и звучный мужской голос, потом с другого берега донеслись мягкие аккорды арфы. Музыка, словно цветочные гирлянды или побеги плюща, обвивала темное, благоуханное тело тихой летней ночи. Все как бы странным образом ублаготворилось, обрело покой и значительность. Глубокое и бездонно- влажное припали друг к другу. Г-жа Тоблер опустила в воду кончики пальцев, что-то сказала, будто обращаясь к воде. Милая, глубокая вода, как же она упруга! Раз совсем близко от тоблеровской прошла другая лодка, с одним- единственным человеком на борту. От неожиданности г-жа Тоблер вскрикнула, почти с испугом. Никто не заметил, откуда взялась эта лодка, ее словно выбросило вдруг из какой-то неведомой дали, а может, из глубины.

Небо сплошь усеяно звездами. Все зыбится, и плывет, и кружит голову! Хозяйка сказала, что немного замерзла, и набросила на плечи шаль, которую прихватила из дома. Йозеф посмотрел на нее, и ему почудилось, будто она улыбается в темноте, хотя толком он, конечно, не разглядел.

— Где наш Лео? — спросила она.

— Вон он, там! Плывет следом! — крикнул Вальтер, старший из мальчиков.

Поднимайся, поднимайся же, бедна! И верно — она с песнею поднимается из вод, превращая все пространство между небом и озером в исполинское новое озеро. У нее нет зрячего образа, и суть ее для глаза непостижима. Она поет, но песня эта недоступна уху. Она простирает свои влажные длинные руки, но нет такой руки, которая способна ответить на ее пожатие. По обеим сторонам ночной лодки возносится она высоко вверх,

но ни одно из сущих знаний этого не ведает. Ничей глаз не смотрит в око бездны. Вода исчезает, отверзлась хрустальная пучина, и суденышко теперь точно скользит под водою, спокойно, уверенно, под звуки музыки.

Надо признать, Йозеф чересчур увлекся своими фантазиями. Он даже и не заметил, как прогулка подошла к концу, а лодка уже ткнулась в берег, вернее, в толстенную сваю, которая торчала из воды поблизости от пристани. Тоблер — он стоял совсем рядом — крикнул, что подчиненному не грех быть и повнимательнее; интересно, мол, в каких таких краях учили Йозефа гребсти и править рулем. Однако же никакой беды не приключилось, все благополучно выбрались на берег.

Остаток вечера решено было провести среди людей, в уютной пивной с садом, где Тоблер встретил знакомых, железнодорожного контролера с супругой, и немедля завел с ними пространную беседу. Маленькая смешливая чиновница рассказывала о своих курах, о яйцах и о бойкой торговле этими доходными товарами. Было очень весело. Йозефа Тоблер представил знакомым как своего «сотрудника». Потом мимо нашей компании просеменила молоденькая француженка, продавщица в универсальном магазине.

— Une jolie petite française,[8] — сказала жена контролера, явно довольная, что подвернулся случай отбарабанить по памяти несколько французских слов. Так уж в немецких краях повелось: люди там всегда рады показать, что понимают по-французски.

«А моя хозяйка, — подумал Йозеф, — ни слова по-французски не знает. Бедняжка!»

Потом все вместе отправились домой.

Когда Йозеф добрался до своей комнаты и зажег свечу, он не стал сразу ложиться, а постоял еще полураздетый у окна, беседуя с самим собою:

— Чем же я тут, собственно, занимаюсь? Если захочу, могу сию же минуту преспокойно улечься в постель и погрузиться в сон, скорее всего здоровый и глубокий. В пивной меня угощают пивом. Я могу кататься на лодке с хозяйкой и детьми, и голод мне не угрожает. Воздух здесь, наверху, отменный, а что до обращения, то я был бы последним лгуном, если б начал его хаять. Свет, воздух, здоровье. Но сам-то я что даю взамен? Способен ли я предложить что-либо реальное и солидное? Умный ли я человек и вправду ли полностью выкладывают свой ум? Ну какие услуги я до сих пор оказал господину Тоблеру? Я, конечно, старался, но тем не менее твердо убежден, что пока хозяин и наставник имел от меня не много проку. Неужто нет во мне ни капли дерзания, инициативы, вдохновения? Вполне возможно. Ведь и то сказать, на свет я появился, оснащенный на диво обильной порцией флегмы. Но, помилуйте, разве это беда? В том-то и дело, что беда, потому как замыслы Тоблера требуют страстной увлеченности, а душевное спокойствие подчас смахивает на сухое безразличие. К примеру, судьба часов-рекламы — все ли фибры моего существа она задела? Можно ли сказать, что я живу ею? Надо признать, я слишком часто думаю совсем о другом. А это, любезный господин помощник, самая настоящая измена. Давай-ка, мой милый, вникай как следует в чужие дела, ты ведь и хлеб чужой ешь, и по

озеру с чужой женою и детьми катаешься, и спиши на чужой постели, и вино пьешь чужое. Ну же, не падай духом, а главное — будь честен! Я имею в виду, у Тоблера мы не просто потому, что нам тут хорошо. И для нас дело чести — немножко поднатужиться. Так что берись за дело!

Между тем Йозеф успел раздеться, задул свечу и юркнул в постель. Но еще довольно долго терзался, укоряя себя в «никчемности».

Во сне помощник неожиданно очутился в комнате г-жи Вирзих. Он вроде и понимал, где находится, а вроде и нет. В комнате было довольно светло, но ему казалось, будто она доверху наполнена озерной водою. Неужто Вирзихи превратились в рыб? Странным образом он курил трубку, тоблеровскую, ту самую, которую инженер особенно любил. И сам Тоблер, похоже, обретался поблизости: слышен был его резкий, поистине начальственный голос. Этот голос как бы обрамлял или обнимал комнату. Потом дверь отворилась, и вошел Вирзих, еще более бледный, чем обычно, и сел в углу, а комната не переставая дрожала в железных тисках тоблеровского голоса. Да-да, комната дрожала, ей было страшно, и оконные стекла тоже дрожали. И все было залито ярким светом! Однако же свет был не дневной и не лунный, а водянистый, безжизненный. И нечего удивляться: дело ведь происходило под водою. Г-жа Вирзих занималась каким-то женским рукоделием, как вдруг работа ее растеклась чем-то ослепительно сверкающим, и Йозеф сказал: «Смотрите, слезы!» Интересно, отчего он так сказал? А голос Тоблера, точно неистовая буря, волнами грохота и рева накатывал на эту обитель бедности. Но старушка только улыбалась, однако, если всмотреться, улыбался, оказывается, пес Лео, еще совсем мокрый от недавнего купания. Чудовищный голос мало-помалу упал до шепота — так листва в летний полдень шелестит-лепечет от легкого горячего ветерка. Тут появилась г-жа Тоблер в черном как ночь шелковом платье; отчего она его надела, догадаться было невозможно. С важной миной благодетельницы она медленно шагнула к г-же Вирзих, но внезапно чувства ее, видимо, приняли совершенно иное направление, поскольку она вдруг бросилась к старухе и расцеловала ее. Голос Тоблера все бубнил что-то, но что именно — не разобрать. Вероятно, думал Йозеф, он полагает сердечный порыв супруги несколько чрезмерным. Внезапно вирзиховское жилище превратилось в лавочку той самой безобразно причесанной и накрашенной торговки сигарами, к которой Йозеф, бывало, заглядывал каждый день, чтобы послушать из ее уст разные истории. Сейчас она тоже рассказывала что-то длинное, монотонное, печальное, и, странное дело, — при всем при том история ее заняла едва ли один миг. «Я сплю или вижу это наяву?» — думал Йозеф. И какое отношение имеет к г-же Вирзих торговка сигарами? Тут в лавочке возник необыкновенной красоты золотой челн, табачница села в него, и он поплыл прочь, все дальше, дальше, пока не исчез в пронзительно-густой черноте воздушного пространства, лишь одна точечка осталась от него в воздухе. И опять сон совершил скачок — вниз, в тоблеровскую контору; там Йозеф увидел себя, он сидел в одной рубашке за столом и писал, и все вопрошающие взирали на него, пристально и вопрошающе. Что было это все, взиравшее на него, он точно не разглядел, но это было именно все, как бы весь живой мир. Повсюду были глаза, которые злобно радовались его странной, беззащитной

обнаженности. Контора от злорадства позеленела, стала ядовито-зеленою. Он хотел было встать и покинуть это место позора, но крепко прирос к нему и, замирая от ужаса, проснулся.

Ему нестерпимо хотелось пить, он поднялся и выпил стакан воды. Потом подошел к окну, глубоко вздохнул и прислушался; все было тихо, беловатое лунное сияние околовало-ошептало окрестности. А какая теплынь! Ветхие домишкы рабочих, облепившие подножие холма, скованы сном. Ни души кругом, ни огонька! Озерная гладь подернута дымкой и совершенно не видна. Несмелый птичий крик на мгновение разорвал ночную тишину. Лунное сияние — ведь это подлинный символ сна! Вот уж покой так покой. Йозеф в жизни не видывал ничего подобного. И сам едва не уснул у раскрытоого окна.

Наутро он припозднился.

Тоблер сердито буркнул, что не любит таких замашек.

А Йозеф имел наглость заявить, что вряд ли эти несколько минут имеют значение. И налетел — во-первых, лицо хозяина на глазах принял злое выражение, а во-вторых, Йозеф услышал следующее:

— Вы обязаны являться на работу вовремя. Мой дом и мои дела — это вам не балаган. Ежели не в состоянии проснуться, купите будильник! Кстати, вы намерены работать или не намерены? Если нет, так сразу и скажите, у нас разговор короткий. В городе полно людей, которые будут до смерти рады получить это место. Достаточно сесть на поезд и съездить туда. По нынешним временам желающих впору на улице подбирать. От вас же я требую пунктуальности, ясно? Иначе... не хочется даже говорить об этом.

Йозеф благоразумно смолчал.

Полчаса спустя г-н Тоблер вновь был для своего помощника добрейшим хозяином и приятнейшим собеседником. От избытка сердечности он обращался к Йозефу чуть ли не на «ты», называл его просто Йозеф, хотя до тех пор всегда говорил исключительно «господин Марти».

Причина этого доброжелательства лежала, собственно, вовне, и искать ее следовало в идеи любви к отечеству. Ведь завтра было первое августа,[9] а в этот день по всей стране из года в год проходили юбилейные торжества в память о благородстве и доблести предков.

Йозефа отправили в деревню купить на завтра разных лампочек, цветных фонариков, флаглов и вымпелов, а также свечей и материал для устройства фейерверка. Кроме того, ему велели срочно заказать переплетчику — как ни странно, именно переплетчик умел изготавливать подобные вещи — деревянную раму размером два на два метра и к ней два полотнища — темно-красное и белое. Когда эти полотнища укрепят на раме, получится государственный флаг — белый крест на алом поле, — который будущей ночью выставят

у фасада тоблеровской виллы. За рамой поместят горящие лампы, чтобы всяк уже издали видел яркие национальные цвета.

Через полтора часа все необходимое было доставлено. И сразу же — будто из-под земли выросли! — кругом засуетились какие-то люди, помогая украшать дом, и принялись везде — на карнизах, в нишах, на коньке кровли, на решетках — укреплять флаги и развешивать лампочки. Даже внутри кустов и прочих садовых растений из тех, что покрепче, клали, вешали, ставили, прицепляли осветительные приборы, так что скоро в тоблеровских владениях невозможно было найти местечка, где не прятались бы петарды, штухи и ракеты будущего фейерверка и лампочки иллюминации. Тоблер сиял от счастья. Вот это по нем! Он был прямо-таки создан для праздников и роскошного их строительства. То и дело он выходил на улицу, чтобы отдать очередное распоряжение или самолично согнуть какую-нибудь проволочку, поправить тут и там электрическую лампочку или просто полюбоваться праздничными приготовлениями. Про часы-рекламу он словно и думать забыл либо по крайней мере отодвинул их на потом. Само собой, детям вся эта затея казалась радостной, торжественной и таинственной, они только и знай что удивлялись, сыпали вопросами и ломали голову над тем, что тут происходит. У Йозефа в этот предпраздничный день хлопот было хоть отбавляй, и ему недосуг было размышлять о том, в самом ли деле он оказывает Тоблеру полезные услуги. Г-жа Тоблер весь день улыбалась, а погода...

Тоблер сказал, что, раз установилась такая чудесная погода, можно спокойно устроить что-нибудь необыкновенное. И на расходы здесь скучиться грешно. В конце концов, это же для отечества, а если в человеке нет ни капли любви к отечеству, так страшней беды не бывает. Кстати говоря, тут делается ровно столько, сколько положено, и ни на йоту больше, преувеличения тоже никому не нужны. А уж кто не видит в этом никакого смысла и знает лишь одно — дела да деньги, — тот и вправду недостоин прекрасной родины, такому все едино — он хоть сейчас, хоть немного погодя может удрать в Америку или в Австралию. Но в принципе это все же дело вкуса. Ему вот, Тоблеру, нравится так, и баста.

На йозефовой башенке реял большой красивый флаг. В зависимости от ветра его легкое тело то дерзко и гордо выгибалось, то стыдливо и утомленно опадало, а то трепетало и кокетливо обвивалось вокруг флагштока, точно играя и упиваясь собственными грациозными движениями. Потом стяг снова взмывал вверх, разворачивался во всю ширь, как символ триумфа и мощной защиты, чтобы затем опять мало-помалу трогательно и нежно поникнуть в дивной голубизне.

Что же до конторских занятий, то едва ли нынче удастся сделать много. Почта (удивительно, что она вообще сегодня работала) принесла довольно внушительный счет за медную кровлю, которой недавно украсилась башенка, та самая, над которой водрузили такой замечательный флаг. Увидев эту бумагу, Тоблер нахмурился — указанная там крупная сумма прямо-таки запечатлелась в морщинах у него на лбу, словно именно оттуда

и надлежало считывать точные цифры. Н-да, не слишком отрадное дополнение к патриотическому порыву.

— С этим можно подождать, — сказал патрон, сунув бумагу прямо под нос Йозефу, который склонился над столом и рьяно строчил письма.

— Понятно! — прогнусавил Йозеф таким тоном, будто с незапамятных времен работал в фирме и наизусть знал все обстоятельства, муки, радости и надежды своего хозяина. Кроме того, нынче он полагал уместным обнаруживать добродушные манеры. При такой чудесной погоде...

— Как людям не терпится представить счета, — заметил Тоблер, набрасывая чертеж — эскиз глубинного бура. Если часы-реклама не найдут сбыта, то на эту машину спрос будет наверняка.

И от письменного стола опять донеслось:

— Понятно!

— На худой конец у меня есть еще патронный автомат, этот уж непременно выручит, — продолжал чертежный стол, на что отдел коммерции отвечал:

— Само собой!

«А верю ли я в то, что говорю?» — подумал Йозеф.

— И не забудьте патентованное кресло для больных! — воскликнул Тоблер.

— Конечно! — поддакнул помощник.

Тоблер осведомился, составил ли себе Йозеф более или менее четкое представление об этих вещах.

— Разумеется, — счел за благо ответить писарь.

— Готово ли письмо в Государственное патентное ведомство?

— Не готово. Я не успел, руки пока не дошли.

— Так займитесь же им, черт побери!

Когда Йозеф подал бумагу на подпись, выяснилось, что она составлена неправильно; Тоблер разорвал ее и велел писать заново. Тем не менее послеобеденный кофе доставил помощнику огромное удовольствие. Кроме того, из города от г-жи Вайс пришел ответ на его последнюю депешу. Г-жа Вайс писала, что с уплатой долга торопиться незачем, это не к спеху. В целом же письмо было довольно прозаическое и даже нудное. Но разве он ожидал чего-то иного? Отнюдь. Слава богу, он всегда понимал, что эта добрая женщина остроумием не блещет.

Сегодня он впервые заметил у г-жи Тоблер шрам, на шее ниже уха.

Откуда это у нее?

Она рассказала, что шрам остался от операции и, вероятно, ей предстоит еще одна на том же месте, так как болезнь не прошла до конца. Столько денег бросаешь, пожаловалась она, в ненасытную пасть врачебного искусства, и все равно о полном излечении даже говорить не приходится. Да-а, эти врачи и профессора, добавила она, за малюсенький, едва заметный глазу простого смертного надрез ланцетом дерут кругленькую сумму, а за что? За то, чтобы допустить ошибку, чтобы пациент вскорости опять пришел к ним лечиться.

— И болит? — сочувственно спросил Йозеф.

— Да так, изредка, — ответила хозяйка.

Засим она живописала Йозефу ход операции. Как ее пригласили в громадный пустой зал, где только и было что-то вроде высокой койки, или стола, и четыре одинаково одетые сестры милосердия. Эти сестры, унылые и бесчувственные, как две капли воды походили друг на друга, и лица у них были словно четыре больших камня одинакового цвета. Наконец до странности резким тоном ей велели лечь на стол. Она, конечно, не желает преувеличивать, но должна сказать, что ей стало весьма и весьма не по себе. Ни на волос приветливости кругом, все только нагнетало впечатление беспощадности и совершенного одиночества. Ни проблеска доброты на лицах, ни намека на утешительное, ласковое слово. Будто капля добrosердечия отравила бы их, ввергla в болезнь, а то, чего доброго, и убила. Ей думается, все идет от чрезмерной осторожности и корректности. Потом ее усыпили, и с этой минуты до самого конца операции она, естественно, ничего уже не чувствовала и не сознавала. А может быть, завершила она свой рассказ, так и надо. И лишь пациент воспринимает все это как непомерное бессердечие. Кто знает, может быть, подлинному врачу и нельзя иметь сердце.

Она вздохнула и провела ладонью по волосам.

Потом заговорила вновь: сама мысль о том, чтобы опять... лечь туда, наполняет ее отвращением и страхом. Еще и по другой причине. Йозеф легко догадается почему. Ей трудно обратиться с этим к мужу, когда финансовое положение — Йозеф-то, наверное, знает — становится все хуже и хуже. Тут уж рада будешь не доставлять мужу лишних расходов. Дурацкие деньги! До чего же обидно изо дня в день без устали заботиться о такой глупости! Нет уж, улыбнулась она, прежде чем раскошеливаться на докторов, надо сперва обзавестись новым платьем, о котором она давно мечтает. Как хотите, а доктора могут и подождать.

«Хозяин говорит, пусть слесарные мастерские подождут, а хозяйка говорит — доктора», — подумал Йозеф.

Первое августа!

Вечер, ночь и день прошли без особых происшествий. И вот опять настал вечер, да не простой — праздничный.

Кое-где уже вспыхивают свечи. Издали глухо доносятся раскаты пушечных выстрелов. Тоблер выставил несколько бутылок хорошего вина и угожает маленькое общество, собравшееся в беседке. Тут и механик, который мастерит патронный автомат, и обе паркетные фабрикантиши. Тоблер уже сейчас радостно сияет, предвкушая вечерние торжества, и чем темнее становится небо и земля, тем ярче разгорается на его румяном лице это особенное сияние. Йозеф зажигает свечи и лампы; разыскивая светильники, он принужден заглядывать буквально под каждый куст. Из деревни долетает невнятное пение и шум, словно там, всего в каком-то километре, царит буйное веселье. Чу! Новый залп! На сей раз палят с другого берега.

— Вот уж где веселятся не на шутку! — восклицает Тоблер. Потом подзывает Йозефа, чтобы «угостить его вином» и снабдить новыми подробнейшими инструкциями насчет электрического освещения большого флага. Нынче вечером помощник трудится на благо великой священной отчизны.

Как звенен в этот памятный вечер голос г-на Тоблера! Скоро ввысь с треском и шипением полетели ракеты, запрыгали по дорожкам петарды. Взвились в темноту огненные змеи, направляемые рукою усердного помощника, — поистине сказка из «Тысячи и одной ночи». Бум-м! — новый пушечный раскат вдали. Теперь стреляли и в деревне.

— Ну?! Скоро вы там? — крикнул Тоблер. — Вечно опаздываете. Очень это на вас похоже, только и горазды в трактире сидеть!

Он во все горло расхохотался, легонько покачивая в руке бокал с искрящимся золотистым вином. Его довольно маленькие глазки ярко горели, точно вот-вот брызнут фейерверком.

Ракеты, одна за другой, споны пламени, огненные змеи. Йозеф казался этаким героем-канониром в гуще жаркой битвы. Он принял романтически-благородную позу, точно воин, твердо решивший дорого продать свою жизнь. Это вышло помимо его воли, да-да, само собою. Ведь в такие минуты люди бог весть что о себе воображают, образ чего-то доброго, возвышенного, особенного является сам собою, непрошеный-незваный. Было бы только вино да грохот стрельбы — и вот уже соткана грэза необычайного, достаточно прочная, чтобы прокутить-промечтать до утра всю долгую, спокойную, кроткую ночь. И Йозефа, и его хозяина увлекло праздничное веселье.

— Стреляйте, вы, бездельники! — выкрикивал Тоблер, и не куда-нибудь, а в сторону деревни, адресуя этот призыв тем, кто обыкновенно позволял себе чуть насмешливый тон, стоило инженеру завести в пивной разговор о своих технических изобретениях. И жестами, и возгласом он однозначно выказал этим «жалким трусам» — так гласила его очередная краткая реплика — свое презрение.

— Но Карл!

Г-жа Тоблер невольно звонко рассмеялась.

Какое дивное зрелище — в далеких невидимых горах, словно паря в бездонном пространстве, вспыхнули и весело запылали костры. Из дальней дали, из высокой выси донеслись мощные, величественные призывы рога, медленно-плавные, перемежающиеся долгими паузами вздохи металла. Это было прекрасно, и все имеющее уши внимало. Да, когда сами горы начинают петь и говорить, мелкий треск и шипение торопливых ракет должны поскорее умолкнуть. Горные костры горят беззвучно, но долго, тогда как совсем рядом искристый дождь выплескивается в небо, на миг наполняя округу изрядным шумом и ликованием, но тотчас вновь уходит в небытие.

Тоблер остался вполне доволен впечатлением, какое производил огромный светящийся красно-белый флаг. А посему велел принести еще несколько бутылок и без устали подливал гостям вина.

— Э-э, чего там, — громко повторял он, — нынче не грех и рюмочку пропустить.

И вновь и вновь со звоном сдвигались бокалы, хрустальный звон мешался с хохотом, которым встречали всевозможные насконо придуманные и тут же разыгранные шутки. Лица у собравшихся горели не меньше, чем глаза. Детей г-жа Тоблер, разумеется, давным-давно отправила в постель. Кто-то тайком окунул бутылочную пробку в красный лак и неожиданно прилепил ее на нос старой паркетной фабрикантше. Тоблер, глядя на это, чуть со смеху не помер, даже за щеки схватился — не дай бог, лопнут.

И вот наконец праздник отозвенел, отсмеялся, бокалы опустели. Веселье слабело и с каждой секундой как бы никло долу, погружалось в дремоту. Женщины поднялись и ушли в дом, мужчины же еще с полчаса оставались в беседке, мало-помалу становясь все серьезнее.

Деревня Бэренсвиль — община, к которой принадлежит и тоблеровская усадьба, — находится от столицы кантона в добрых сорока пяти минутах езды по железной дороге. Как и почти все деревни в этих местах, она расположена весьма живописно и может похвастаться не одним внушительным господским домом и общественным зданием, причем некоторые из них были воздвигнуты еще в эпоху рококо. Есть в Бэренсвиле и множество известных фабрик, шелкоткацких, например, и ленточных, тоже довольно старых. Впервые промышленность и торговля запустили тут свои более или менее примитивные колеса и ременные передачи лет сто пятьдесят назад, и с тех пор не только в стране, но и во всем остальном широком мире неизменно пользуются доброй славой. Коммерсанты и заводчики, однако же, не погрязли навек в деланье денег, нет, по мере того как шли годы и менялись вкусы, они тратили деньги, словом, — это и сейчас видно, — умели жить. В разное время и в разном стиле по их заказам строились очаровательные, похожие на виллы особняки, чья скромная, но изящная архитектура еще и поныне способна вызвать у случайного зрителя восторг и зависть. Все эти разбогатевшие люди наверняка умели устроиться в своих маленьких замках и домах со вкусом и солидностью, так что, по всей вероятности, домашняя жизнь у них текла

красиво, размеренно и уютно. Потомки этой старинной торговой аристократии и теперь еще строят в достойном, уравновешенном стиле. Они любят укрыть свои дома в глубине старых, буйно разросшихся садов, ибо унаследовали от предков бесценный дар — чутье своеобычности и целесообразности. С другой же стороны, мы видим в Бэренсвиле, или Бэренсвайле, множество построек бедных и жалких, а живут в них рабочие, и эта изнанка богатства и изящных красот тоже обладает давней исконной традицией. Ведь бедный домишко может стоять так же крепко, долго и прочно, как дом зажиточный и изысканный; нищета не вымирает, покуда живы роскошь и утонченная праздность.

Да, Бэренсвиль — деревня прелестная и задумчивая. Ее переулки и улицы напоминают садовые аллеи. Она соединяет в своем облике и городские, и сельские черты. Увидев в этом краю гордую всадницу со свитой, не стоит каменеть в глупом изумлении, надо просто взглянуть на фабричные трубы и подумать: ведь тут зарабатывают деньги, а деньги, как известно, могут все. И коляски с ливрейными лакеями здесь не такая уж редкость. Им вовсе не обязательно принадлежать графиням и баронессам, такое под стать и супруге фабриканта, тем более что в этой округе горделивое усердие ремесленника на самом деле присуще именно старинной сельской и городской аристократии.

«Прелестный уголок», — сказал бы о Бэренсвиле просвещенный чужеземец. Но г-н Тоблер с некоторых пор об этом уже не заикался и даже бранил деревню «грязной дырой», оттого лишь, что кое-кто из бэренсвильцев, таких же, как и он, завсегдатаев «Парусника», не очень-то верит в здравую основу его технических начинаний.

— Дайте срок, и в один прекрасный день я заставлю их вытаращить глаза, — в последнее время частенько твердил инженер.

Почему, однако, г-н Тоблер, собственно говоря, поселился здесь? Что побудило его выбрать местом жительства эти края? По этому поводу рассказывают следующую несколько туманную историю. Три года назад Тоблер был рядовым служащим, сменным инженером на крупном машиностроительном заводе. И вот, получив как-то довольно большое наследство, он загорелся мыслью основать собственное дело. Человек он был сравнительно молодой, пылкий, а такие люди обычно во всем — и в реализации заветных планов тоже — немного опрометчивы, и это неудивительно. Однажды вечером, а может быть, ночью или днем Тоблеру попадается на глаза газетное объявление о том, что вилла «Под вечерней звездою» (так она называется) назначена на продажу. Чудесное местоположение на берегу озера, великолепный, изысканный сад, хорошее железнодорожное сообщение с не слишком отдаленной столицей. Вот, думает инженер, это ему и нужно! Не долго думая, он покупает усадьбу. Свободный, независимый изобретатель и делец, он волен жить где заблагорассудится, ничто его не удержит.

Свой дом! Вот единственная мысль, которая привела Тоблера в Бэренсвиль. Главное — свой дом, а стоять он может где угодно. Тоблер решил стать самому себе хозяином и стал им.

Рано утром после праздника Йозеф спустился вниз, в контору, и немного поизучал патронный автомат — надо ведь в конце концов и с ним ознакомиться. Для этой цели он вооружился листом бумаги, на котором было напечатано подробнейшее описание машины, а также воспроизведен чертеж-инструкция. Как же обстояло с этим тоблеровским изобретением номер два? Номер один Йозеф знал уже едва ли не наизусть, а посему думал, что пришло время занять свой ум чем-нибудь новеньким. И сам удивился — так быстро он сумел разобраться во внутреннем и внешнем устройстве номера второго.

Патронный автомат, как выяснилось, очень напоминал собою знакомые каждому проезжающему конфетные автоматы, каких множество на вокзалах и в разного рода общественных местах, только выбрасывал он не плитку шоколада, не мятные лепешки или что-либо в таком духе, а пачку боевых патронов. Сама по себе идея, стало быть, не новая, зато усовершенствованная, улучшенная, ловко перенесенная в иную жизненную сферу. И размером тоблеровский автомат был значительно больше: высокое громоздкое сооружение высотой метр восемьдесят и шириной семьдесят пять сантиметров. Периметр у аппарата был не меньше, чем у столетнего, скажем, дерева. Приблизительно на уровне человеческого роста находилась щель, куда бросали монету или опускали купленный за деньги жетон. После этого нужно было немного подождать, а затем потянуть за удобный рычаг и спокойно вынуть из открытой чаши упавшую туда пачку патронов. Конструкция отличалась практичностью и простотой. Основу ее составляли три взаимосвязанных рычага, а также ведущий к выпускному отверстию вертикальный канал для подачи патронов; тридцать пачек в стандартной государственной упаковке, лежа друг на друге, заполняли подобие дымовой трубы. Если потянуть за рычаг с удобной ручкой, одна из тридцати пачек тотчас необычайно элегантно выпадала из трубы, аппарат же функционировал дальше, то есть пребывал в покое, пока не подходил очередной стрелок и не заставлял его вновь исполнять вышеозначенные функции. Но это не все! Автомат имел еще один плюс — он был снабжен рекламным приспособлением, и всякий раз, как опускали монету или жетон и тянули за рычаг, в круглой прорези, расположенной в верхней части машины, появлялась красивая рекламная картинка. А секрет заключался в том, что система рычагов хитроумно и весьма практично соединялась с очень простой вещью — цветным бумажным ободком. Когда механизм выбрасывал пачку патронов, в прорезь точнехонько попадала новая картинка, поскольку ободок при этом поворачивался. Вся его поверхность была разбита на отдельные «поля», за абонирование и пользование каждым из которых надлежало взимать определенную плату, а вырученные деньги, по мысли изобретателя, должны были великолепнейшим образом покрыть расходы на постройку автомата.

— Устанавливать патронные автоматы необходимо на лужайках-стрельбищах, когда там проводятся многочисленные состязания. Что же касается рекламных объявлений, то, как и в случае с часами-рекламой, по поводу заказов следует обращаться лишь к ведущим фирмам. Если допустить, что рекламой будут заполнены все поля, — а сделать такое допущение можно, — Тоблер заработает на этом, — Йозеф так углубился в свои мысли, что начал рассуждать вслух, — опять же недурственную сумму, ведь доходы от

объявлений намного превысят стоимость изготовления. Абонирование одного поля, скажем, на десяти автоматах сразу, естественно, обеспечит значительную скидку.

В контору вошел рассыльный Бэренсвильского банка и сберегательной кассы.

«Все ясно, вексель», — подумал Йозеф. Встал со своего места, принял бумагу, осмотрел ее со всех сторон, повертел так и этак, внимательнейшим образом изучил, состроил задумчивую и вместе с тем важную мину и сказал рассыльному: ладно, мол, зайдем.

Тот забрал документ и ушел. А Йозеф немедля вооружился пером, чтобы письменно ходатайствовать перед векселедержателем о месячной отсрочке.

Написать такое письмо легче легкого! И в сберегательную кассу нужно позвонить, не откладывая. Надо надеяться, вскоре он к этому привыкнет. Вот ведь он попросту встал и вперил пристальный взгляд на сумму, подлежащую уплате, а затем попросту спокойно и даже строго посмотрел на рассыльного. Тот сразу и оробел, да как! Людей, которые помогаются от Тоблера денег, впредь надо отваживаться совершенно по-другому, и гораздо резче. Это его долг, этого требует чувство признательности г-ну Тоблеру. Сейчас патрону ни под каким видом нельзя напоминать об этих отвратительных мелочах. Именно сейчас у него совсем другие дела, сейчас его могли занимать лишь очень серьезные заботы. Он для того и обзавелся помощником, чтобы этот, надо полагать, знающий и находчивый малый избавлял его от мелких неурядиц, как говорится, нес караул у двери и энергично выпроваживал незваных скряг с векселями. Вот Йозеф тем и занимался. Но зато и курил теперь очередную, только что доставленную из деревни, свеженьющую сигару.

Помощник прошелся по конторе. Тоблер был в отлучке по делам и, очевидно, не вернется до конца дня. Лишь бы нынче не заявился этот... как его... г-н Иоганнес Фишер — вот будет неприятность!

Этот Иоганнес Фишер письмом откликнулся на объявление для «владельцев капитала» и сообщил, что, по-видимому, в самое ближайшее время приедет в Бэренсвиль, чтобы ознакомиться с упомянутыми изобретениями.

Ну и почерк у человека — изящный, прямо дамский какой-то!

Тоблер же, напротив, писал размашисто, крупно, точно палкой по песку. А такой вот изящный, тонкий почерк сразу наводит на мысль о несметных богатствах его обладателя. Почти все капиталисты пишут, как этот: четко и вместе с тем слегка небрежно. Почерк вполне соответствовал аристократичной и непринужденной осанке, едва заметному наклону головы, спокойным, красноречивым жестам. От этих удлиненных букв веет холодком; тот, кто так пишет, наверняка полная противоположность пылкому помощнику. Всего несколько слов: стиль лаконичный и учтивый. Вежливость и краткость заключены уже в самом уютном формате аккуратного листка писчей бумаги. Почему-то сей неведомый г-н Иоганнес Фишер представлялся Йозефу еще и надущенным. Только бы он не приехал сегодня! Тоблер сильно расстроится, а чего доброго, от досады выйдет из себя.

Правда, он наказывал, если этот господин прибудет, скрупулезнейшим образом все ему показать и объяснить и особенно строго внушал Йозефу ни под каким видом не отпускать г-на Фишера, а постараться задержать гостя до своего возвращения. В случае чего можно предложить этому, как видно, утонченному незнакомцу чашку кофе, никто же не говорит, что он не снизойдет до этого. Такой изящной садовой беседкой, как у Тоблеров, приятно полюбоваться каждому, в том числе самому высокопоставленному и влиятельному лицу, да и посидеть там одно удовольствие. Стало быть, пускай этот капиталист все же приезжает, к его визиту, думал Йозеф, достаточно подготовились.

Тем не менее Йозеф слегка трусил.

Вот ведь как славно ему тут жилось в отсутствие принципала! Такой принципал, даже если он милейший на свете человек, вынуждал тебя, однако, постоянно быть начеку. Когда он бывал в хорошем настроении, ты все время боялся, как бы что-нибудь не стряслось и не обратило веселое расположение хозяйствского духа в его прямую противоположность. Когда же он злился и ехидничал, тебя и вовсе ожидал более чем тосклиwyй удел: невольно полагая, что именно по твоей милости у патрона испортилось настроение, ты корил себя, обзывал растяпой и мошенником. Когда он был ровен и степенен, перед тобой стояла задача оградить его уравновешенное естество от любых, пусть даже самых легких повреждений, чтобы он — боже сохрани! — не почувствовал себя уязвленным, хотя бы и крохотной царапинкой или занозой. Когда хозяин был настроен пошутить, ты мгновенно превращался в веселого пуделя — ведь как же тут не повилять хвостом, ловко подхватывая шутки и двусмысленные остроты. Когда он бывал добр и великодушен, ты казался себе жалким ничтожеством, когда грубил — ты был просто обязан улыбаться.

Но стоило хозяину отлучиться, как весь дом становился другим. И хозяйка была совершенно другая, и дети, особенно мальчики, на мордашках которых издалека читалась радость по поводу отсутствия строгого папаши. Вместе с Тоблером исчезало что-то боязливое. Что-то слишком напряженное и тягостное.

«Неужто у меня такая лицемерная, трусливая душонка?» — думал Йозеф. В этот миг вошла Сильви, старшая из девочек Тоблер, и позвала его обедать.

После обеда, когда Йозеф сидел за кофе и беседовал с г-жой Тоблер, на садовой дорожке появился какой-то господин.

— Ступайте в контору, там посетитель, — сказала хозяйка помощнику.

Йозеф поспешил прочь и только-только успел добежать до конторской двери — незнакомец уже стоял на пороге. Не имеет ли он чести видеть перед собою самого г-на Тоблера, — приятным голосом осведомился вновь прибывший. Нет, слегка смущившись, ответил Йозеф, г-н Тоблер, к сожалению, в отъезде, а он хоть всего-навсего и служащий, однако ж позволит себе просить гостя войти.

Незнакомец назвал свое имя.

— Ах, это вы, господин Фишер! — воскликнул Йозеф, кланяясь г-ну Иоганнесу Фишеру, и тотчас заметил, что допустил оплошность: поклон вышел немного слишком радостный и оживленный.

Оба — капиталист впереди — прошли в чертежную, где г-н Фишер, озираясь по сторонам с некоторым высокомерием, немедля принял расспрашивать о технических проблемах.

Прежде всего Йозеф рассказал о часах-рекламе. Достал опытный экземпляр и положил на стол перед гостем (тот по-прежнему внимательно изучал обстановку), попутно разъясня, какие прибыльные возможности заложены в этой новинке.

Посетитель, слушавший как будто бы с интересом, спросил, разглядывая орлиные крылья часов, не вкраилась ли ненароком ошибка в расчеты, касающиеся объема денежных поступлений за рекламу, ведь в подобных случаях частенько так бывает. Кроме того, он хотел бы знать, есть ли уже заявки на рекламу.

Вопросы он задавал спокойно, не спеша. И казалось, даже впал в легкую задумчивость, каковую Йозеф, пожалуй чуть скропалительно, истолковал в свою пользу.

Йозеф ответил, что указанную сумму едва ли можно считать завышенной, скорее наоборот, и заявок уже довольно много.

— Какова же стоимость часов?

Йозеф с готовностью объяснил, только при этом, сам не зная отчего, чуточку запинался. Он совершенно не представлял себе, что делать дальше, и от смущения потянулся было за успокоительной сигарой, но тут же оставил эту внезапную мысль как неуместную. И покраснел.

— Насколько я понимаю, — проговорил г-н Фишер, — речь идет о как будто бы превосходно спланированном и, на мой взгляд, довольно хорошо обеспеченному начинанию. Если позволите, я кое-что запишу.

— Пожалуйста!

Вообще-то Йозеф хотел сказать: разумеется, прошу вас. Но голос и губы не пожелали повиноваться. Почему? От волнения? Как бы там ни было, он явственно ощущал, что уже готов сказать: быть может, сударь, вам будет угодно откупить в саду чашечку кофе?

— Внизу меня ждет супруга, — как бы невзначай обронил г-н Фишер, сделав несколько карандашных пометок в изящном блокноте. И неожиданно собрался уходить. А Йозеф никак не мог стряхнуть оскорбительное впечатление, будто эти свои пометки капиталист делал не всерьез, не для памяти, а для отвода глаз. Он хотел было открыть рот и сказать,

что ему не составит труда слетать к воротам и препроводить наверх даму, которая там ждет.

Г-н Фишер выразил сожаление, что не застал самого г-на Тоблера. Ему это очень прискорбно, но он надеется, что еще будет иметь такое удовольствие. Во всяком случае, он благодарен Йозефу за любезно предоставленные сведения. Йозеф попробовал вставить несколько слов, но капиталист продолжал:

— Очень жаль. Весьма возможно, я бы и сумел сделать выбор. Часы-реклама мне очень понравились, и я полагаю, — они себя еще окупят. Не откажите в любезности, кланяйтесь от меня вашему патрону. Благодарю вас и будьте здоровы.

— Но ведь можно...

Полноте, неужели это Йозеф не в силах связать двух слов?

Г-н Иоганнес Фишер коротко кивнул и вышел. Может быть, догнать его? Господи, да что ж это такое? Может быть, Йозефу самое время хлопнуть себя по лбу? Нет, пожалуй, надо вернуться в сад, к хозяйке, которая ждет его, сгорая от любопытства и тревоги, и рассказать ей, как «безответственно глупо» он себя вел. «Глупо, очень глупо», — думал помощник.

До беседки он добрался как раз в ту минуту, когда г-жа Тоблер всыпала юному Вальтеру порцию шлепков. Вся в слезах, она повторяла: как же нехорошо, что у нее такие ужасные дети. От этого помощник вконец пал духом: с одной стороны — сердитые слезы хозяйки, с другой — иронический прощальный кивок капиталиста, а на заднем плане — густеющие тучи тоблеровского недовольства.

Он сел на свое место, поспешно оставленное десять минут назад, и налил себе еще кофе. «Почему бы не налить, — думал он, — ежели он есть? Все воздержание мира так или иначе уже не отведет от моей головы близкую грозу».

— Кто это был? Господин Фишер? — спросила хозяйка. Утерев слезы, она смотрела вниз, на проезжую дорогу. В самом деле, г-н Фишер был еще там. Он и его спутница, судя по всему, любовались усадьбой Тоблеров.

— Да, — ответил Йозеф, — я тщетно пытался задержать его: он сказал, что обязательно должен идти. Но, как бы там ни было, адрес-то его у нас есть.

Он лгал! И до чего же бойко ложь слетала с языка! Нет, он ничуть не старался задержать г-на Фишера! И утверждая это сейчас, просто-напросто лгал, нахально и легкомысленно.

Г-жа Тоблер огорченно заметила, что ее супруг очень на них обоих рассердится, уж она-то знает.

Они помолчали. Малышка Сильви сидела на камушке и тихонько, монотонно напевала. Г-жа Тоблер велела ей перестать. Господи, какая жара, солнце так и палит, все вокруг отливает золотом и голубизной. Денежный туз уже скрылся из виду.

— Вам, наверно, страшновато? — улыбнулась г-жа Тоблер.

— О, страх — это пустяки, — храбро возразил Йозеф. — К тому же господин Тоблер в любую минуту может меня выгнать.

— Зря вы так говорите, это и не умно, и не правильно, и вообще-то бросает на ваш характер не слишком приятный свет. Вам, конечно же, страшновато, это по всему видно. Ну да ничего, не волнуйтесь, Карл вас не съест. Хотя непременно устроит сегодня вечером умеренной силы грозу, к этому вы должны быть готовы. — Она звонко, мелодично рассмеялась и продолжала: — Я всегда вполне понимала, отчего мой муж внушиает другим уважение. Людей малознакомых он едва ли не пугает, да-да, я не шучу, именно пугает. И это неудивительно. А вот сама я ни капельки его не боюсь.

— Правда? — вставил Йозеф, уже немного спокойнее.

— Правда, — кивнула хозяйка. Она пока не сошла с ума, чтобы заблуждаться на этот счет. Самые ужасные вспышки мужнина гнева для нее скорее комедия, чем трагедия; когда он ей грубит, она невольно принимается громко хохотать, хотя толком не знает почему. И ничего странного здесь нет, она всегда считала это естественным для себя, но, как ей известно, есть люди, которые, увидя такое, от изумления вытаращат глаза и разинут рты: казалось бы, слабая, беспомощная женщина, а смеет находить поведение мужа забавным. Забавным? О, порой бывает не столь уж и забавно, когда Тоблер является домой и вымешивает на ней все свои неудачи; в подобных случаях приходится молить бога, чтоб он даровал ей силы рассмеяться. Правда, и к брани, и к ругани мало-помалу привыкаешь, даже если ты всего лишь «слабая, беспомощная женщина». Ведь и такая женщина иной раз тоже серьезно размышляет о земных делах. Она вот, к примеру, думает сейчас о том, что буря, которая ждет их сегодня вечером, будет непродолжительной и, как положено таким бурям, быстро рассеется.

Г-жа Тоблер встала. В этот миг было в ней что-то хладнокровно-ироничное.

Йозеф поспешил к себе в башню. Он испытывал потребность немного побывать одному. Хотел поскорее «навести порядок» в своей голове, но подходящие и успокоительные мысли на ум не шли. И он опять спустился в контору, однако и там не мог отделаться от постыдного чувства тревоги. Стремясь наконец подавить его, он решил отправиться прямиком на почту, хотя время было неурочное. Ровная ходьба успокаивала и утешала, а приветливый сельский ландшафт напоминал о ничтожности и маловажности тревог. В деревне он выпил стакан пива, чтобы голос звучал повеселее; и вообще, сегодня вечером некоторое хладнокровие ему отнюдь не повредит. Вернувшись домой, он тотчас ушел на задний двор и принялся поливать сад из длинного резинового шланга. Тонкая струя воды описывала в вечернем воздухе красивую высокую дугу и с плеском падала на цветы и

травы. Уж если что могло успокоить, так именно поливание, ведь за этой работой ты ощущал на удивление теплую и прочную связь с Тоблерами и их домом. А человека, который вот только что с необычайным рвением обихаживал сад, едва ли возможно ругать на чем свет стоит.

На ужин была печеная рыба. Мыслимое ли дело — поесть печеной рыбы, а вслед за тем сразу же стать жалчайшим из людей. Одно с другим совсем не вяжется.

А вечер-то какой чудесный! Ну разве возможно в такой дивный вечер нанести ущерб начинаниям Тоблера?!

Служанка принесла в беседку горящую лампу. Нет, в сиянии такой прелестной, уютной лампы Тоблер попросту не вправе принять неудачный визит г-на Фишера чересчур близко к сердцу.

В конце концов г-же Тоблер захотелось покачаться на качелях. Она села, Йозеф потянул за канаты, и качели плавно пришли в движение. Чарующая картина — и Йозеф беспечно отмахнулся от мысли, что вот сейчас явится Тоблер и все испортит.

Часов около десяти г-жа Тоблер и Йозеф услыхали шаги по гравию садовой дорожки — это был он.

Странно, стоит заслушать шаги знакомого человека, и, как бы он ни выглядел, появление его уже никого не удивит.

Тоблер устал и злился, но в этом ничего удивительного не было, потому что он, как правило, всегда возвращался в таком настроении. Он сел и шумно перевел дух — человеку его комплекции взобраться на холм было тяжеловато. Потом он потребовал свои трубки. Йозеф, счастливый хоть на миг скрыться с глаз начальника, опрометью помчался к дому, чтобы скорей доставить желаемое.

Когда он вернулся с курительными принадлежностями, ситуация уже переменилась. На Тоблера было страшно смотреть. Жена успела все ему рассказать и теперь немыслимо храбро, как показалось Йозефу, стояла в беседке, спокойно глядя на мужа. А тот сидел с перекошенным лицом и даже выругаться не мог, чувствуя, что прибегнет к чересчур уж крепким выражениям.

— Стало быть, как я слышу, здесь был господин Фишер, — проговорил инженер. — Ну и как, понравились ему мои вещицы?

— Очень!

— Что же именно? Часы-реклама?

— Да, они приглянулись ему больше всего. Совершенно, мол, замечательная идея.

— А на патронный автомат вы обратили его внимание?

— Нет.

— Почему?

— Господин Фишер очень торопился, из-за своей жены, которая ждала его у ворот.

— И вы заставили эту даму ждать?!

Йозеф молчал.

— Ну за какие грехи мне достался такой простофиял?! — вскричал Тоблер, не в силах более сдержать снедавшую его ярость и досаду на деловые неурядицы. — Меня обманывают! И кто же? Собственная жена и бестолковый помощник. Вот и делай после этого дела, черт побери!

Он бы расплющил керосиновую лампу, если б г-жа Тоблер не изловчилась отодвинуть ее в сторону как раз в тот миг, когда кулак мужа обрушился на стол.

— И вовсе тебе незачем так кипятиться! — воскликнула г-жа Тоблер. — А уж говорить, будто я тебя обманываю, я запрещаю. Я ведь, между прочим, еще помню, где живут мои родители. И Йозеф ничем не заслужил таких оскорблений. Если, по-твоему, он нанес тебе ущерб, отошли его, но подобных сцен не устраивай.

Все это она, будучи женщиной «слабой и беспомощной», произнесла сквозь слезы, но слова ее отнюдь не остались без последствий: Тоблер сей же час успокоился, гроза пошла на убыль. Инженер принял обсуждать с Йозефом, какие шаги можно предпринять, чтобы капиталы г-на Иоганнеса Фишера не уплыли из рук. Завтра утром надо обязательно связаться с ним по телефону.

В жизни некоторых коммерсантов телефон играет важную роль. Кое-кто утверждает, что крупные перевороты в торговом мире начинаются, как правило, с телефонного звонка.

При одной мысли о том, что завтра утром они позвонят г-ну Фишеру, оба — и Тоблер, и Йозеф — вновь воспрянули духом. Быть не может, чтобы дело расстроилось, когда под рукой подобные вспомогательные средства!

А после уведомления по проводам Тоблер незамедлительно сядет в поезд и отправится в резиденцию капиталиста, чтобы нанести визит этой «упорхнувшей птичке».

Тоблер давно уже повеселел и оживился, но голос его еще подозрительно дрожал, словно возбуждение по-прежнему кипело в душе. Все трое допоздна засиделись за картами. Дескать, пора и Йозефу освоить эту игру; кто ее не знает, тот не настоящий мужчина.

Наутро, как и было условлено, они позвонили г-ну Фишеру по телефону. И с какой же уверенностью миною Тоблер влетел в железнодорожный вагон! Вечером мина у него была подавленная, злая и мрачная. Сделка не состоялась. Вместо свободных денег — новая горькая сцена в темной беседке. Тоблер сидел черный как грозовая туча, изрыгая ужасные

кощунственные проклятия. В частности, он сказал, мол, будь его воля, то пусть земля целиком и полностью погрязнет в трясине, теперь уж все едино. Он и так по уши увяз в самом настоящем болоте.

Когда он договорился до того, что послал к черту в преисподнюю и себя и все вокруг, г-жа Тоблер велела ему умерить тон. Но в ответ он так свирепо рявкнул, что она бессильно уронила голову на стол, затем встала и, мягко ступая, удалилась.

Вы обидели свою жену, — рискнул сказать Йозеф в порыве светского благородства.

— Подумаешь, обидел! Тут целый свет обижен, — отрезал Тоблер.

Потом они вдвоем сочинили новое объявление для ежедневных крупных газет. Оно пестрело оборотами вроде «блестящее предприятие», «максимальная прибыль при полном отсутствии риска». Текст будет завтра же отослан в бюро объявлений.

Опять наступило воскресенье, Йозеф опять получил пять франков на карманные расходы. И опять воспользовался привилегией являться в чертежную когда угодно. Нет, в этом решительно было что-то поэтическое. Сегодня опять будет изысканный обед, может быть телячье жаркое, золотистое, поджаристое — любо-дорого смотреть! — и цветная капуста с собственного огорода, а на десерт, возможно, яблочный мусс, который здесь, наверху, прямо-таки во рту тает. И сигарой сортом получше угостят. Все-таки что за манера у Тоблера смеяться и иронически, свысока поглядывать на тебя, едва речь заходила о том, чтобы угостить сигарой. Будто Йозеф слесарь какой-нибудь, которому говорят: «Вот, держите. Небось приятно выкурить хорошую сигару». Будто Йозеф только что кончил красить решетку, или чинить дверной замок, или там дерево колышком подпер. Потому что так угощают сигарой прилежного садовника. Разве Йозеф не правая рука Тоблера? Что ж, выходит, этакая правая рука только и заслужила, что воскресную сигару поприличнее?

Сегодня он встал не сразу; открыл окна и понежился-пожмурился в лучах беловатого утреннего солнца — тоже приятная штука, равно как и многое другое, к примеру мысль о завтраке. До чего же все нынче светло и празднично! Светлое и праздничное, похоже, давненько побратались, и отрадная мысль о спокойном завтраке, да-да, вне всякого сомнения, она тоже была соткана из чего-то светлого и праздничного. Разве сегодня можно хмуриться, а тем паче пребывать в дурном настроении или грустить? Во всем таилось что-то загадочное, в каждой мысли, в собственных ногах, в брошенной на стул одежде, в сверкающих чистотою гардинах, в умывальнике. Но эта загадочность не внушала тревоги, наоборот, она успокаивала и вызывала улыбку, форменным образом дарила сердцу мир и покой. Откровенно говоря, ты погружался в блаженно-бездумное состояние и сам не знал, отчего так вышло, но, надо полагать, к этому были более чем веские причины. В этом бездумье заключались целые потоки солнечного света, а когда сияло солнце, Йозефу совершенно непроизвольно приходили на ум столы, установленные роскошными завтраками. Да, вот с такой простенькой мысли уже и начиналась глупая, но чуть ли не сладостная воскресная праздничность.

Он встал, оделся тщательнее, чем обычно, и вышел на четырехугольный балкон. С высоты видны были кроны деревьев в соседском саду. Сколько покоя вокруг и ослепительного солнца! На свежем воздухе Паулина накрывала стол к завтраку. Перед этим зреющим помощник устоять не мог. Ноги сами понесли его вниз — к кофе, хлебу, маслу и варенью.

Чуть позже Йозеф спустился в контору. Дел там было не слишком много, однако же, подчиняясь восхитительному ощущению привычности, он уселся за письменный стол, который по виду больше смахивал на кухонный, и начал писать письма. Ах, сегодня его серьезное перо занималось чистейшим баловством. Слова «телефонная договоренность» казались ему такими же празднично-нарядными, как погода и весь мир за окном. Оборот «и позволю себе» лучился синевой, как озеро под холмом, а «с уважением» в конце письма прямо-таки благоухало кофе, солнцем и вишневым мармеладом.

Он отворил дверь и вышел из конторы в сад. Еще одна примета воскресного дня — можно позволить себе просто так прервать работу и быстренько обойти дозором сад. Какие дивные запахи, как жарко, несмотря на ранний утренний час! Пожалуй, через полчасика не грех и искупаться, ведь все эти дела явно не к спеху. Да, нынче можно без опаски сказать такое Тоблеру в глаза, он будет с Йозефом вполне единодушен. Если вдуматься, в этом «не к спеху», по сути, и заключалось различие между днем воскресным и днем будничным. Сад прямо как завороженный, завороженный зноем, гудением пчел и ароматом цветов! Сегодня вечером опять надо как следует все полить.

Размышляя об этом и полагая себя идеальным работником, Йозеф взял стеклянный шар и понес его на улицу.

Навстречу ему вышел Тоблер, облаченный в новый, аристократический костюм, и объявил, что намерен кое-куда съездить с женой и детьми. Нельзя же все время торчать дома, иногда стоит и жену порадовать. Что до Йозефа, то он, как думается Тоблеру, вероятно, поедет в город навестить своих тамошних друзей.

«Ну, друзья — это покамест моя забота, ты их не трогай», — мысленно ответил хозяину Йозеф, а вслух сказал, что сегодня предпочтет остаться здесь, ему так удобнее.

— Что ж, как вам угодно, — сказал г-н Тоблер.

Примерно полчаса спустя все отъезжающие — супруги Тоблер, оба мальчика, барышня-соседка и маленькая Дора — снарядились в дорогу и стояли перед домом, готовые на целый день отправиться в довольно неблизкий городок на кантональный певческий праздник. Г-жа Тоблер надела черное шелковое платье и выглядела едва ли не внушительно. Она велела Паулине смотреть за домом и, обращаясь к Йозефу, благосклонно добавила: пусть, мол, он тоже поглядывает за тем, что происходит в усадьбе, ведь, как она слышала, он никуда не едет.

Наконец общество двинулось в путь под громкий лай посаженного на цепь пса, который, пожалуй, весьма огорчился, что его не взяли. Рядом с Йозефом притулилась на полу Сильви, сестренка Доры. Незаслуженная обида эту девочку как будто вовсе и не печалила. Что из всех детей ее одну оставили дома, было для нее в порядке вещей. Она в самом деле давным-давно свыклась с разного рода унижениями и почти перестала их замечать.

— Счастливо оставаться, Марти, — на прощание сказал Йозефу г-н Тоблер.

«Куда уж счастливей! Вы бы лучше о своем счастье тревожились, господин инженер, — с легкой горечью думал Йозеф, расположившись с книгой на кое-как убранной постели в своем воздушном чертоге. — Вот ведь, эта странная чета Тоблер в обществе постной ангелицы с паркетной фабрики разъезжает по увеселениям, по всяkim там певческим праздникам, а малышку Сильви бросают дома, словно кучку мусора. Эта Сильви для них вроде ненужного лоскутка, который вовсе не достоин чудной воскресной погоды. Красавица госпожа Тоблер терпеть не может девочку, она, видите ли, недостаточно красива, вот пускай и сидит дома. А этот господин предприниматель! Еще три дня назад он от злости и разочарования метался то туда, то сюда, то по кругу — смотреть жалко, а нынче говорит мне, счастливо, дескать, поезжайте в город к знакомым и друзьям. Боится, как бы я не завел шашни с его служанкой Паулиной, вот и все».

Он вдруг обнаружил, что на душе у него слишком уж горько, и заставил себя приняться за книгу. Но чтение шло туго, поэтому он отложил книгу, подошел к столу, взял в руки свое приватное перо и лист бумаги и написал следующее.

«Мемуары

Вот только что я едва не углубился в злобные мысли, но успел их пресечь. Потом решил почитать, но не смог; книга не захватила меня, тогда я отложил ее в сторону, потому что чтение без увлеченностии, без восторга для меня невозможно. И теперь я сижу у стола и занимаюсь собственной персоной, ибо нет на свете никого, кто желал бы получить от меня хоть какую-нибудь весточку. Как давно я уже не писал теплых, человеческих писем! То письмо, адресованное г-же Вайс, недвусмысленно показывает, как меня выбросило, вышвырнуло из круга людей близких и участливых, как недостает мне людей, которые по естественным причинам имеют полное право требовать от меня сообщений о моем житье-бытье. В том письме тон был надуманный и наигранный; в нем и правда, и вымысел — вымысел духа, напуганного тем, что он начисто лишен самых простых и понятных связей. Спокоен ли я теперь? Да. И все, что я сейчас говорю, я говорю, обращаясь к полдневной тишине. Вокруг меня царит воскресный покой — жаль, я не могу поведать об этом какой-нибудь важной персоне, ведь это прекрасное начало для письма. Теперь же я немного расскажу о своей натуре».

Йозеф ненадолго отложил перо, потом продолжал:

«Я из хорошей семьи, но, сдается мне, получил немного слишком поверхностное воспитание. И говорю я это ни в коей мере не в обиду своему отцу и матери, боже упаси, а

просто хочу разобраться, что, собственно, произошло с моей особой и с тем окружением, каковому довелось иметь со мною дело. Обстоятельства, в которых растет ребенок, — вот главные воспитатели. Вся округа, вся община содействует его воспитанию. Основа основ, пожалуй, родительское слово и школа... Но что же это за манера — заниматься собственною драгоценной особой! Лучше пойду купаться».

Тут незадачливый мемуарист положил ручку, разорвал написанное и вышел из комнаты.

После купания он пообедал в обществе Паулины и Сильви. Служанка, не отличавшаяся тонкостью натуры, беспрестанно хихикала, свято веря, что Йозеф вполне одобряет ее действия, и усердно обучала малышку хорошим манерам, хотя сама толком ими не владела. А сводились ее суэтные и безжалостные усилия вот к чему: она раз за разом показывала Сильви, как надо обращаться с ножом и вилкой, и заставляла девочку повторять свои манипуляции, притом никакого положительного результата от этих занятий не ожидалось, и даже более того — не требовалось, ведь иначе все удовольствие от этих уморительных упражнений сошло бы на нет. Девочка же только смотрела большими и вправду глупыми глазами то на свою наставницу, то на невозмутимого созерцателя Йозефа и довольно-таки неряшливо роняла на стол еду, вслед за чем Паулина опять разражалась не в меру бурным потоком возмущенных слов, каковые для Сильви должны были звучать серьезно, а для Йозефа — забавно, как бы удовлетворяя сразу двум противоположным взглядам на мир и на жизнь. Сильви все делала невпопад, поэтому служанка, которой мать девочки предоставила буквально неограниченную власть над малышкой, не долго думая, сочла, что будет правильно и полезно отхлестать негодницу по щекам и дернуть за волосы, — Сильви громко вскрикнула, пожалуй, не столько от физической боли, сколько из последних остатков гордости, детской гордости, уязвленной и униженной тем, что ей приходится терпеть такие мучения от посторонней особы вроде Паулины. Йозеф промолчал. Когда девочка вскрикнула от злости и боли, служанка мгновенно прикинулась кровно обиженной и оскорбленной, ведь, как ни странно, Йозеф вовсе даже не думал смеяться, да и Сильви отнеслась к побоям без должного смирения, которое она, Паулина, в своей бездумности и жестокосердии полагала совершенно естественным.

— Ну, я тебя проучу, мерзавка! — завопила, вернее, завизжала она, хватая девочку, которая выбежала из-за стола, и водворила ее на место, при этом малышка больно ударила о спинку стула. Делать нечего — повинувшись суровому, резкому окрику своей наставницы и воспитательницы, Сильви снова, и как следует взяла в руки вилку и нож, чтобы поневоле закончить этот злополучный, утомительный обед. По причине заплаканных глаз девочка показалась Паулине еще более глупой и неуклюжей, чем раньше, и сия непревзойденная воспитательница громко расхохоталась. Глядя на уныло жующую Сильви, она прямо-таки перекосилась от смеха. Стало быть, настроение у нее опять пришло в норму. Как известно, нахалы за словом в карман не лезут, и вот Паулина безмятежно, с выражением крестьянски-туповатого удивления на лице, спросила у молчаливого Йозефа, уж не рассердился ли он, может, стряслось что, коли он воды в рот набрал. Прямолинейность и навязчивость этого игривого вопроса сделали свое дело:

Йозеф не выдержал и густо покраснел. Захоти он убедить свою соседку в том, какие его обуреваю чувства, ему бы пришлось пустить в ход кулаки. Поэтому он только пробурчал что-то невразумительное и встал из-за стола; этот поступок подкрепил служанкины предчувствия, внушавшие ей, что Йозеф во всем человек крайне малоуживчивый и необщительный и что он не иначе как намеренно обижал ее и вызывал на грубость. И Паулина сей же час выместила на Сильви это новое досадное ощущение, приказав ей убрать со стола, то есть препоручив девочке работу, которую полагалось бы выполнять ей самой. Девочка, старательно исполняя приказ тиранки и угнетательницы, каждый раз, когда нужно было взять что-нибудь со стола, поднималась на цыпочки, обхватывала обеими руками миску, тарелку или несколько приборов и покорно, с осторожностью, не сводя глаз со своей лихойки, относила туда, где их потом вымывают. Делала она это с таким видом, будто в руках у нее была не посуда, а маленький, мокрый и колючий венец, окропленный ее же слезами, влажно блестящий венец раннего и неизбывного детского горя.

Йозеф пошел вверх по горному склону, к лесу. Туда вела очень красивая и очень тихая дорога. Шагая по ней, он, конечно же, размышлял о маленькой Сильви, которую все дергают и шпыняют. Паулина виделась ему чем-то вроде ненасытной хищной птицы, а Сильви — мышкой в когтях жестокого чудовища. И как это г-жа Тоблер могла отдать свою хрупкую дочку на растерзание этому дракону в образе служанки? Но в самом деле Сильви так уж хрупка, а служанка так уж кровожадна? Может быть, все не столь ужасно. Ведь, если скоропалительно решить, будто по одну сторону сосредоточено все дьявольское, что только существует на белом свете, а по другую — самое милое и прекрасное, очень легко впасть в крайность. «Мерзавка» Сильви все же капельку такая и есть, а вот Паулина — это Паулина. Даже в мыслях Йозеф никак не мог отозваться о Паулине благожелательно, ну в крайнем случае сказал бы, что отец ее честный путевой обходчик и крестьянин. Но какое отношение семейство обходчика имело к жестокому удовольствию от издевательств над ребенком? Кто его знает, а вдруг отец у Паулины временами зверел, как бешеный бык?! Но эта благородная, чуть ли не аристократичная Тоблерша, мать Сильви, эта бургера до мозга костей, впитавшая с молоком матери нежную чувствительность, эта умница и в определенном смысле даже красавица, — как с нею-то обстоит? У нее-то какая причина отталкивать и шпынять ребенка? Йозефу понравилось это странноватое слово — «шпынять», на его взгляд, оно превосходно раскрывало суть обозначенного им понятия. «Отринуть», «оттолкнуть» звучит немного старомодно и напоминает сказки, а вот «шпынять» бедных маленьких беззащитных детей можно и сегодня, точь-в-точь как сотни лет назад. Такое происходило даже в особняке Тоблеров, который, как говоривал сам инженер, очень полюбился двум феям — Благоприличию (в моем доме все должно быть благоприлично!) и Порядку (черт побери, побольше порядка, вы слышали?!). Неужто две столь очаровательные феи способны терпеть у себя под боком нечто до такой степени непорядочное и в самом деле неблагоприличное, как беспрестанное унижение детской души, — полноте, возможно ли это? Судя по всему, да! В этом мире много чего возможно — были бы только силы и желание поразмыслить об этом, гуляя в лугах.

Из людей Йозефу почти никто не встретился. Лишь несколько крестьян что-то делали у дороги. По обе стороны ее расстилались пышные лужайки, засаженные сотнями плодовых деревьев. Кажется, и очень тесно и вместе с тем очень просторно и зелено. Вскоре он добрался до леса, а побродив недолгое время, обнаружил узкий, промытый ручьем овражек и устроился во мху — просто-напросто упал на мягкую землю. Ручей журчал так славно, сквозь листву высоких буков так знакомо, так приятно сверкало солнце, и сочные травы оплетали овражек будто бы тонкой, ласковой паутиной. Прелестное местечко — в самый раз для какой-нибудь романтической истории. Откуда-то с окрестных плато донеслись выстрелы, — наверное, не очень далеко находится стрельбище. А вообще — как же здесь покойно! Ни одно дуновение не могло проникнуть в этот укромный зеленый мир. Прежде должны были бы рухнуть деревья, но эти старые великаны выстоят перед бурей, да что там — перед десятком бурь, а сегодня овражку вроде бы не грозят ни ветры, ни ненастия. Появясь сейчас какая-нибудь дама-всадница в бархатной амазонке и кожаных перчатках, с распущенными пышными золотыми волосами, с белым конем в поводу, — Йозеф едва ли бы сильно удивился. Это место прямо создано для таких приключений — с благородными дамами верхом на лошадях. Но много ли красивого и благородного найдешь в окрестностях тоблеровской виллы? Не считать же таковым Паулину или самого Тоблера, этого падкого на авантюры дельца, предпринимателя, облаченного в деловой костюм! Да, что говорить, деловых начинаний тут было хоть отбавляй, но вот каких?! Какое отношение технические начинания имеют к зеленым лесным овражкам, белым коням, изящным дамам и геройским делам? Разве в старину кавалеры и дельцы ездили на часах-рекламе, на патронных автоматах и прочих подобных клячах, разве гоняли их в хвост и в гриву? Разве тогда были уже дети вроде Сильви, которых все вокруг «шпионают»? О да, только называли их «отринутыми», а нынче тот, кто лежал средь чудной зелени во мху, говорил, что их «шпионают».

Йозеф рассмеялся. Как же здесь хорошо! Покой в лесу — покой вдвойне. Деревья и кустарники вокруг образуют первый слой покоя, а второй, еще более чудесный — это выбранное тобою местечко. Прислушаешься к тихому лепету ручья — и тебя словно обвевают долгие прохладные грезы; утопишь взгляд в зеленых сводах над головою — и словно купаешься в серебре и золоте добрых помыслов. Выдуманные, выхваченные из круга близких и дальних знакомых лица что-то тихонько шепчут, или говорят, или просто строят разные мины, тогда как глаза сами по себе ведут задушевные беседы. Чувства храбро являются во всей своей наготе, и тончайшие движения души втайне встречают горячее понимание. Губы и мысли, не нуждаясь более ни во времени, ни в земных путях, обмениваются поцелуями, когда одни узнают других; на губах огнем вспыхивает радость, а в мыслях рождается грустный и нежный напев под стать ручью, кустам и лесному покою. Достаточно лишь подумать, что скоро наступит вечер, и все знакомые и незнакомые ландшафты уже как бы заливает вечерний свет.

Лес над головою мечтателя вздыпался и опускался, и колыхался тихонько, и приплясывал в устремленных вверх глазах, а глазам поплясать за компанию проще простого. «Как же

здесь хорошо!» — повторял про себя Йозеф. И внезапно в памяти его ожил небольшой эпизод детства.

Тогда, в отроческие годы, у него тоже был свой овражек, вернее, песчаный карьер, но такой особенный, такой маленький, какого он после ни разу не видывал. Этот округлый карьер располагался у опушки большого леса, где росли буки, ели и дубы; Йозеф с братьями и сестрами наткнулся на него однажды во время послеобеденной прогулки. Случилось это тоже в воскресный день, пожалуй, на склоне лета. Дети убежали вперед, придумывая на ходу забавы и играя, родители шагали следом, чуть поотстав. Вновь найденный карьер оказался великолепным местом для игр, и дети решили прямо тут и дождаться родителей. Наконец мать с отцом подошли и согласились, что место очаровательное, бывают в природе совершенно пленительные уголки — вот и этот таков. По краям карьера тянулись воистину непролазные заросли, так что, собственно говоря, только любопытная детвора и могла его отыскать. Правда, в одном месте была довольно широкая прогалина — своего рода удобный вход. Мать села на траву и прислонилась спиной к елке. Посреди карьера возвышался небольшой бугор естественного происхождения; живописно поросший молодыми деревцами, он словно бы приглашал сесть или полежать. Такое всякому понравится! Весь этот уголок, казалось, был сотворен рукою чуткого к природе мечтателя; впрочем, нет, сама природа, обыкновенно беззаботная и беспечная, здесь была так впечатлительна и деликатна, что сумела создать живой образец уюта и уединенности. Вокруг пригорка расстилалась, круглясь, игровая площадка — лесная поляна, поросшая чудеснейшими травами, злаками и дикими цветами, источающими дурманный, романтический аромат. От остального мира виден был только кусочек неба, на котором, конечно же, резко вырисовывались высокие деревья по краю обрыва. Все вместе напоминало уголок просторного господского парка, а не случайный лесной лужок. Родители безмолвно смотрели на ребячью суetu: дети с криками и смехом гонялись друг за другом вверх и вниз по крутым песчаным откосам. О эти юные голоса! Надо же — так расшалиться! Дети обрадовались, что матери нравится здесь, что она может спокойно посидеть в этом славном и уютном местечке. Они знали, чего жаждет и в чем нуждается материнская душа. И скоро все вокруг словно бы наполнилось и дружелюбной задумчивой радостью, и ребячей убежденностью, верой и надеждой, что находка оказалась удачной. Будто под действием каких-то колдовских чар, оживленные игры стали еще гораздо самозабвенней и неистовей. Мама, кажется, была довольна, значит, позволительно пошуметь немного больше обычного. Как почти во всех мещанских семействах, в семье у Йозефа была своя горькая беда, но тут она отошла совершенно на задний план, мало того — весь мир прямо-таки канул в забвение. Дети изредка поглядывали на мать: не сердится ли? Нет, взгляд ее светился кротостью и, в общем, чистосердечием. Добрый знак — и даже сам травяной пригорок словно почувствовал это. «Она в добром расположении», — шептали детям листья шелестящих деревьев. Когда мать была в состоянии улыбаться — а случалось так крайне редко, — им улыбался весь мир. Мать уже тогда хворала, ее мучила тяжелая аллергия. И до чего же отрадно казалось детям то, что эта женщина, истерзанная недугом, сейчас спокойно лежала в траве. Несчастью просто-напросто не было места в этом уютном уголке, потому-

то каждая травинка уединенного лесного лужка лепетала-шептала о радости, и каждая словная хвоинка строила теплую веру. На коленях у матери были рассыпаны полевые цветы, зонтик лежал рядом и какая-то книжка, выскоцкнувшая из рук. Лицо, которого дети боялись, хранило умиротворенное выражение. Тут уж можно побеситься, и покричать, и пошалить от души. Каждая черта материнского лица говорила: «Да-да, шумите, шумите, теперь можно. Пошумите вволю, это все пустяки». И прелестная полянка словно бы задорно и весело включилась в игру... «Там был карьер, а здесь всего-навсего лесной овражек, и тоблеровский дом рукой подать, и непростительный грех — мечтать, когда тебе уже перевалило за двадцать три».

Йозеф двинулся в обратный путь.

Дом Тоблеров — вон ведь как стоит, прочный и вместе с тем изящный, точно обитают в нем лишь прелесть жизни и невзыскательность! Такой дом разрушить не просто; усердные, ловкие руки хорошенъко скрепили его раствором, возвели из балок и кирпичей. Озерный ветер его не свалит, даже ураган с ним не совладает. И что для такого дома один-два деловых просчета?

Впрочем, у всякого дома две стороны — зrimая и незримая, внешний облик и внутренняя основа, а внутренняя конструкция, пожалуй, столь же важна, и даже иной раз, как несущая опора целого, гораздо важней, чем внешняя. Пусть дом с виду опрятен и наряден — что в этом проку, если живущие там люди не способны служить ему опорой и надежей? Вот тогда-то, между прочим, деловые и экономические ошибки приобретают огромное значение.

Итак, тоблеровский дом еще существует, хотя г-н Иоганнес Фишер стремительно отдернул свою дающую деньги руку. Но разве в мире всего-навсего один кредитоспособный человек? Если да, Тоблеру и впрямь впору пасть духом. Однако как же он в таком случае надумал именно теперь строить в саду грот? Видно, ни гроша покуда не потерял, а то бы ему едва ли было до подобных затей.

Внизу, на проезжей дороге, люди частенько останавливаются, задирают головы и не спеша разглядывают виллу; когда глядишь на них сверху, кажется, будто эти случайные наблюдатели получают удовольствие от открывающейся им картины. Да и кто не возрадуется при виде столь удачно расположенного дома? Уже медная башенка и та заслуживает всяческого интереса. И денег она стоила немалых. А то, что соответствующий счет лежит в конторе в ящике среди других неоплаченных счетов, человеку, углубленному в созерцание дома, даже в голову не придет — слишком респектабельное впечатление производят и дом, и сад.

Управляющий Бэренсвильским банком определенно призадумался уже о том, что в доме Тоблера завели обычай отклонять предъявленные к оплате векселя под предлогом их пролонгации. Но он осторегается высказать вслух эти недоверчивые и тревожные мысли, потихоньку зашевелившиеся в его голове. Ведь трудности, возможно, временные, да и банковские управляющие, как правило, не болтуны, а строгие к себе люди, которые знают,

сколько зла предвзятые суждения способны причинить честолюбивому, единоборствующему с жизнью дельцу. Известная настороженность, конечно, не повредит, и лоб не грех наморщить у себя в кабинете, и рукой махнуть — но язык пока стоит держать за зубами, ибо директор банка служит коммерции и индустриальному развитию населенного пункта, к числу обитателей которого принадлежит и г-н Тоблер, хотя в последнее время там, наверху холма, «Под вечерней звездой», дела, похоже, идут не вполне успешно. У заправил банков и сберегательных касс рот обыкновенно узкий, сжатый, и открывается он, только когда существует стопроцентная уверенность в окончательной неплатежеспособности. Стало быть, Тоблер покуда может радостно посмеиваться в кулак. Тайна его затруднительного положения покоится в сберегательной кассе Бэренсвиля как в наглухо замуроженном склепе.

Если у человека еще не пропало желание посещать с женой и детьми шумные певческие или гимнастические праздники, значит, у него есть еще какой-то тайный, не иссякший источник кредита, из которого он до сих пор не черпал лишь потому, что в этом последнем спасительном жесте не было пока нужды. Если у человека столь привлекательная жена, которую, когда она идет по деревне, со всех сторон радостно приветствуют, значит, с ним явно еще не так уж и плохо.

Все и правда было не так уж плохо. Деньги могли хлынуть в техническое бюро в любую минуту, объявление дано, оставалось только набраться терпения — и успех обязательно придет. Какой богатый и предприимчивый человек устоит перед объявлением, которое начинается словами: «Блестящее предприятие». Главное — чтобы кто-нибудь клюнул, а уж удержать его у них смекалки хватит. И действовать тут нужно не так, как в случае с г-ном Фишером; кстати, если вдуматься, этот г-н Фишер был, пожалуй, вовсе не расположен вести дело серьезно и потому вовсе не заслуживал такого серьезного отношения.

Разве часы-реклама стали вдруг ни на что не годны, а? Отнюдь нет! Напротив, элегантные крылья их рекламных полей сверкали как никогда ярко. А патронный автомат? Разве не велось уже которую неделю изготовление первого его образца? Разве самый прилежный и исполнительный из механиков не появлялся чуть ли не ежедневно на вилле, чтобы сыграть с Тоблером в карты? Другие тоже ведь играли в карты и рюмочкой вина баловались, но тем не менее процветали — почему же не процветал Тоблер? Загадка.

Г-н Тоблер обосновался в «этом паршивом Бэренсвиле» не затем, чтобы раньше времени спасовать; такое удовольствие — коли уж его не миновать — инженер вполне мог позволить себе где-нибудь в другом месте, благо поводов для этого предостаточно. Нет, именно сейчас нужно преподать здешним карасям да щукам хороший урок, щелкнуть их по любопытным, насмешливым носам, показать, на что способен страстный, работающий человек и муж, даже в такую минуту, когда и дом, и контора грозят вот-вот рухнуть. Поэтому Тоблер, нимало не заботясь, о чем там будут шушукаться в деревенских трактирах, надумал заняться благоустройством сада и украсить его искусственным гротом, хотя бы эта затея и обошлась в уйму денег.

Торжества бэренсвильцев допустить нельзя, еще чего недоставало! Необходимо, елико возможно, отравить этим людышкам радость, какую они ощутят, если обстоятельства вынудят Тоблера пойти на попятный. Нет, до этого еще далеко. И назло всему, едва грат будет более или менее завершен, Тоблер непременно отпразднует его освящение и пригласит по этому случаю самых уважаемых граждан деревни, тех, кто с ним покуда хоть немного искренен, — пусть видят, как хватко и уверенно он обуздывает жизнь.

Кто, как Тоблер, чувствовал ответственность за свою семью, кто называл «своими» жену и четверых детей, того так просто не спихнуть с однажды обретенного и обжитого места. Пусть только попробуют — мигом разбегутся от сверкающих молний его гневного взора. А если эти жирные колбасники и тут не угомонятся, что ж, он ведь и силу применить может: сгребет одного-двух да и швырнет прямо через ограду, и душа у него не дрогнет.

Но до этого было пока очень далеко. Пока фирма «К. Тоблер. Техническое бюро» имела у всех ремесленников и деловых людей Бэренсвия неограниченный кредит. Обойщик и столяр, слесарь и плотник, мясник и виноторговец, переплетчик и печатник, садовник и скорняк выполняли заказы и поставляли свой товар на виллу «Под вечерней звездой», не требуя незамедлительного расчета, в полной уверенности, что этот вопрос можно уладить и попозже, как-нибудь при случае. Ни о шушуканьях, ни о перешептываньях в деревенских злачных местах даже речи не было; обрушившись на односельчан, Тоблер, похоже, в предвидении подобной ситуации просто-напросто заранее отрабатывал тактику поведения, да и делал-то он это лишь тогда, когда крепко досадовал на какого-нибудь человека или какую-нибудь деловую неурядицу.

Тоблеровский дом покуда благоухает на всю прелестную округу чистотою и добропорядочностью, да еще как! Озаренный лучистым солнцем, поднятый ввысь на чудесном зеленом холме, расточающим улыбки озеру и долине, окруженный и объятый поистине господским садом, он стоит как воплощение скромной и здравомыслящей радости. Недаром случайные прохожие подолгу любуются им, ведь зрелище и вправду отрадное. Ярко сверкают стекла окон и белые карнизы, золотисто смуглееет башенка, а флаг, оставшийся с ночного праздника, весело и величаво колышется на ветру, то трепеща, то струясь, как пламя, то обвиваясь вокруг стройного прочного флагштока. Своей архитектурой и местоположением этот дом выражает двойственные чувства — живость и покой. Надо сказать, он самую малость чванится, он хоть и не такой, как укрытые в глубине уютных старых садов господские дома постарше, но очень милый, и у обитателя его, которому поневоле приходит на ум, что, может статься, его с позором выдворят отсюда, наверное, кошки на сердце скребут, и не без причины.

Но такие мысли г-н Тоблер немедленно пресекает.

С-си-ви! С-си-ви!

Какие пронзительные, острые, режущие звуки. И все-таки толком не режет. Грубый кухонный нож, который много лет не точили, мог бы позвать Сильви не хуже, чем Паулина, которая из-за дефекта речи плохо выговаривает «л». Но что касается Сильви, тут

служанка умеет командовать отлично. Когда же она упоминает о Доре, командирский голос понижается до тихого воркующего лепета. Дору Паулина всегда называет «До-ли», потому что в ласковом имени «Дорли» ее неловкий язык не справляется с «р», «л» она выговаривает свободно, что достаточно удивительно, так как в «Сильви» она его постоянно опускает. Но «Си-ви» звучит остро, вот в чем дело, и Сильви хотят поранить, хотят причинить ей боль уже одним этим окриком, — никто не разговаривает с девочкой по-доброму.

Собственная мать не выносит этого ребенка, а потому вполне естественно, что все им помыкают. Дора зато не иначе как сахарная, по крайней мере сначала невольно склоняешься к такой мысли, потому что всюду знай звенит, поет флейтой, зовет: «Дорли! Милочка Дорли!» — не хочешь да подумаешь, будто совсем рядышком находится что-то беленькое и сладкое. Дора словно не из мяса и костей, а из миндаля, бисквита и сливок — во всяком случае, так кажется, оттого что воздух вокруг девочки переполнен комплиментами, сюсюканьем и ласками.

Когда Дора болеет, она — само очарование. Лежит среди подушек на кушетке в гостиной, в руках — игрушка, на губах — ангельская улыбка. Каждый заходит приласкать ее, и Йозеф тоже, он просто не может не зайти, его так и тянет туда, ведь малышка и вправду прелесть. Вылитый отец — те же темные глаза, то же пухлое лицо, тот же нос, и вообще, портрет г-на Тоблера.

Сильви же — не вполне удачная копия матери, уменьшенный, и притом довольно скверный, фотографический ее портрет. Бедная девочка! Чем она виновата, что плохо сфотографирована? Она тоненькая и вместе с тем нескладная. По характеру — если применительно к ребенку можно говорить о характере — она как будто бы недоверчива, а душою — лжива.

А вот Дорли — существо насквозь очаровательное и искреннее! Потому-то она любимица всего дома и всей округи. Ей преподносят подарки, ей подчиняются. Йозеф носит Дору по саду на закорках, ей достаточно только сказать: «Сделай то-то и то-то» — и он немедля выполняет ее просьбу. Она так мило просит. Само небо, кажется, внемлет ей, когда она просит. Белые облачка словно бы слетают с этого младенческого неба, и чудится, будто откуда-то доносится неземная музыка! Она просит и одновременно приказывает. В любой по-настоящему милой просьбе всегда содержится своего рода безапелляционный приказ.

Сильви просить не умеет; она слишком застенчива и слишком лукава и попросить толком не смеет, а чтобы уметь просить, нужно безраздельно и крепко доверять себе и другим. Собраться с духом и горячо попросить можно, только если ты твердо, неколебимо уверен в том, что просьбу выполнят; однако Сильви не уверена ни в чьей доброте, ведь ее весьма опрометчиво и неосторожно приучили к совсем другому. Забитое, неряшливое созданье вроде Сильви легко становится день ото дня ершистей и невзрачней — смотреть противно и терпеть невозможно, а все потому, что такой маленький человек не просто перестает следить за собою, но даже из тайного, болезненного упрямства, какого в неразвитом

ребенке никто и не предполагает, норовит своим все более дурным поведением возбудить у окружающих еще большее отвращение и неприязнь. Странное, между прочим, дело с этой Сильви — глядя на нее, почти невозможно испытывать к ней доброе чувство. Глаза тотчас же выносят приговор не в ее пользу, лишь сердце, если оно у тебя есть, говорит потом: бедная маленькая Сильви!

Из мальчиков Вальтер ходит в любимцах, а младшим, Эди, пренебрегают. Но в иных семьях мальчиков вообще ценят выше девочек, поэтому менее любимый мальчик отнюдь не бывает настолько лишен доброго, теплого расположения, как может случиться с девочкой, которую все «шпионают». Вот и в семействе Тоблеров так же: Вальтер и Эди, вместе взятые, ценятся куда выше другой пары — девочек Доры и Сильви. По натуре Вальтер и Эди совершенно разные, старший мальчик — проказник, необузданный, но искренний, а Эди не прочно забиться в уголок, совсем как его сестренка Сильви, и говорит так же мало, как она. Кстати, Эди никогда не насмехается над выходками Сильви, между ними царит молчаливое, но, быть может, тем более естественное согласие. Они даже играют друг с другом. А вот Вальтер никогда бы не стал связываться с Сильви. Он смеется над сестрой и часто ее обижает, по примеру взрослых, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.

О Сильви стоит еще рассказать, что она почти каждую ночь мочит постель, хотя Паулина регулярно будит ее, чтобы посадить на горшок. Этому физическому изъяну малышка прежде всего и обязана строгостью, в которой ее держат, ибо домашние твердо уверены, что ей лень проснуться и встать с кровати. Г-жа Тоблер дала Паулине указание бить девчонку по щекам всякий раз, как она намочит постель, а если оплеухи не помогут, служанке разрешено пускать в ход мебельную выбивалку — может, тогда будет больше проку, и Паулина слушается хозяйку. Поэтому среди ночи из детской частенько долетают жалобные крики вперемежку с громкой бранью и оскорбительными прозвищами, которыми Паулина непременно награждает грешницу. По утрам Сильви надлежит собственоручно относить свой горшок вниз. Опять-таки по распоряжению мамы. Г-жа Тоблер считает, что преступнице вполне пристало делать это самой, у Паулины и без того хватает забот. И вот забитый, затурканный ребенок сидит на лестничной площадке, бог весть почему поставив рядом с собой вышеупомянутый предмет; посмотришь на нее, и кажется, будто добрые ангелы-хранители, слывущие заступниками бедных беззащитных детей, покинули ее. А если она «в довершение всего» еще и проявляет строптивость, ее запирают в погреб, и тогда крикам и стужу в закрытую дверь конца-краю нет, так что даже соседи, простые рабочие люди, с тревогой прислушиваются к жалобным воплям, доносящимся с виллы.

Тоблер об этом ничего толком не знает; ведь обычно он редко бывает дома, а теперь и вовсе почти постоянно в разъездах. Он полон деловых забот, и воспитанию и надзору за детьми может уделить лишь немного времени. Человек вроде Тоблера охотно предоставляет домашние хлопоты жене, ведь сам он мотается по дорогам и воюет из-за часов-рекламы и патронного автомата. Такой человек несет ответственность, а жена, как следовало бы надеяться, несет любовь и труды. Муж борется за существование, жена

печатается о положении семьи и о мире в доме. Увидим ли мы, насколько преуспела в этом г-жа Тоблер? Возможно.

Где есть дети, всегда есть и несправедливости. Детишки Тоблер образуют очень неправильный четырехугольник. Вершины его — это Вальтер, Дора, Сильви и Эди. Вальтер широко расставляет ноги и разевает свой наглый рот в здоровом, самодовольном хохоте. Дора сосет пальчик, улыбается и снисходительно, как принцесса, взирает на Сильви, которая услужливо завязывает шнурки на ее башмачках. Эди строгает подобранные в саду деревяшку, с головой уйдя в работу, которую производит его перочинный ножик. Где же тут правильность и справедливость? Каким образом воздать должно каждому маленькому сердцу, каждой душе? Из кухонного окна выглядывает Паулина. Эта особа, вышедшая из самой гущи народной, как ни странно, лишена чувства справедливости либо толкует его превратно. И неправильный четырехугольник сдвигается, дети бросаются врассыпную, каждый уходит в себя, в свои часы и дни, в сокровенные ребячье чувства и вселенную, окружающую тоблеровский дом, в боль и радость, в унижения и ласки, в комнату и будничный круговорот, в сонные ночи и извечный ход детских переживаний. Возможно, они даже способны поднажать на рулевое весло тоблеровского делового корабля и изменить его курс. Кто знает!

Однажды на неделе, которая в общем протекала спокойно, в виллу «Под вечерней звездой» пожаловали гости — доктор Шпеккер с супругой. Как принято говорить, вечер прошел весьма непринужденно. Вновь достали карты и сыграли в ясс, так называлась популярная во всех уголках страны карточная игра. Г-жа Тоблер, достигшая в яссе, как упоминалось выше, определенного мастерства, посвящала г-жу Шпеккер в многочисленные хитрости,ственные игре, ибо докторша в этом пока не слишком разбиралась. Смеху и шуткам в тот вечер конца не было. Йозефа возвели в ранг виночерпия: он приносил из погреба вино, а затем разливал его по бокалам; и в этих обстоятельствах обнаружилось, что помощник не лишен известной гордости, каковую Тоблер нашел глупой, и что гордость эта уравновешивается, однако ж, определенным светским тактом, — стало быть, патрон мог без стеснения познакомить его со своими влиятельными гостями.

— Это мой сотрудник, — громко сказала Тоблер, после чего Йозеф поклонился господам из деревни.

Что же это были за люди? Он был врач, вдобавок очень молодой, а что до нее, то весь ее облик прямо-таки кричал об одном: «Я — жена врача!» — и больше ничего. Как жена своего мужа, она с самой первой минуты и до конца вечера держалась тихо и застенчиво. Г-жа Тоблер была не вполне такова, в ней — особенно по сравнению с докторшей — чувствовалось, хотя и слегка, что-то таинственное, а в г-же Шпеккер всякая таинственность отсутствовала.

К вину подали сладкое печенье, мужчины курили.

«До чего ж этот врач молод и какой у него счастливый вид», — думал Йозеф, стараясь играть как можно осмотрительнее и хитрее. Его позвали на подмогу. Доктор задал помощнику несколько вопросов: откуда он родом, давно ли в Бэренсвиле и у Тоблеров, нравится ли ему здесь и прочая. Йозеф удовлетворил его любопытство, ответив настолько подробно, насколько позволяла скрытность, свойственная в подобных обстоятельствах людям, ведущим бродячий образ жизни. Между тем играл он довольно неосмотрительно, и его со всех сторон блистательнейшим образом принялись наставлять в правилах игры, точно наставляли на путь истинный закоснелого, тупого еретика.

В остальном велись обыденные разговоры, а это, в конце концов, и составляло «непринужденность».

На той же неделе случился небольшой инцидент нравственно-культурного свойства, определенную роль в котором сыграл Йозефов предшественник Вирзих, так что денек-другой этот выдворенный из тоблеровского дома человек снова был у всех на устах. А произошло вот что.

В одно время с Вирзихом несколько недель назад с виллы Тоблеров была изгнана и служанка, предшественница Паулины, по рассказам г-жи Тоблер, девица наглая и хитрая, то бишь вороватая; по словам хозяйки, не верить которым нет оснований, она крала постельное белье и разные другие вещи. Уволили ее по причине алчной чувственности натуры и поведения, в силу которых она вступила с Вирзихом в довольно вызывающую и бесстыдную связь, каковая не осталась тайной для хозяев, ибо чересчур бросалась в глаза и была в самом деле непристойна. Кроме того, упомянутая служанка была склонна к истерии, а для детей это представляло особую опасность. Зачастую она ни с того ни с сего появлялась в кухне или на лестнице в одной рубашке, а потом упорно, клятвенно, проливая потоки слез и судорожно вздрагивая своими пышными телесами, твердила в ответ на все упреки, что, мол, не выдержала более в платье, что сейчас помрет — и прочая и прочая циничная и глупая болтовня. Господа Тоблер доподлинно знали оочных визитах, каковые эта сластолюбивая особа наносила Вирзиху в его башне, поэтому они сочли, что будет вполне разумно и справедливо порвать деловые отношения с больной и испорченной девицей и уволить ее.

Так вот, от этой самой особы на виллу «Под вечерней звездой» и пришло письмо, адресованное г-же Тоблер, а в письме, составленном в неприятно фамильярном тоне, бывшая служанка сообщала, что в тех местах, где она живет, о г-же Тоблер ходят разные слухи: мол, ее прежняя хозяйка состояла с подчиненным г-на Тоблера Вирзихом в любовной связи; правда, она-то сама, служанка, нисколько этому не верит, она твердо убеждена, что сказать такое могут только злые изолгавшиеся языки. Однако ж она почла своим долгом известить женщину, у которой долгое время была в услужении, об этой омерзительной клевете, чтобы предостеречь ее, и так далее.

Это письмо, которое, конечно же, изобиловало орфографическими ошибками, да и умом не блестало, повергло получательницу в неистовое возмущение, ибо упомянутая там

привязанность слуги к прежним хозяевам была беспардонной выдумкой, равно как и дурные слухи насчет поведения г-жи Тоблер. Последняя дала Йозефу прочитать письмо — в обеденный час, когда они сидели в беседке, а г-н Тоблер отсутствовал, — и попросила помочь ей составить решительную отповедь, каковую она просто обязана дать наглой лгунье.

— Почему бы и нет? Охотно! — ответил Йозеф возбужденной, негодующей женщине. Сказал он это довольно сухим тоном, потому что пыл, с каким она ринулась в эту вирзиховскую аферу, едва ли не обидел его; а г-жа Тоблер вообразила, что ему не хочется оказывать ей эту услугу, и сказала: если-де он не хочет, то она и сама справится. Принуждать его она отнюдь не намерена. Видимо, оказать ей такую услугу для него вовсе не удовольствие, и вообще, он сегодня ведет себя по отношению к ней невежливо.

— Отчего же не удовольствие? — чуть не со злостью возразил Йозеф. — Только отдайте точный приказ! Скажите мне, как вы хотите составить ответ, и я пойду в контору, а через несколько минут все будет готово. Особого удовольствия тут и не требуется.

Бестактное заявление. Г-жа Тоблер это почувствовала и, смерив помощника удивленным взглядом, повернулась к нему спиной. Йозеф молча возвратился в контору, к своей работе.

Немного погодя в конторе появилась и г-жа Тоблер, еще весьма разгоряченная, попросила у Йозефа ручку и лист бумаги, села за мужнико бюро, подумала минуту-другую и начала писать. Занятие было для нее непривычным, поэтому она то и дело откладывала перо, громко вздыхала и сетовала на низость простонародья. Наконец она закончила и, не в силах устоять, все же показала результат своих трудов письмоводителю, желая услышать его мнение. Письмо было адресовано матери коварной служанки и гласило вот что.

Уважаемая!

Я получила письмо от Вашей дочери, бывшей моей прислуго и сразу же должна сказать, что письмо это бесстыдное и вульгарное. Под видом преданности и любви к хозяевам в нем скрываются грубейшие оскорблении по адресу женщины, которая была добра и снисходительна, и теперь наказана за то, что не умела быть жесткой и бессердечной. Знайте же, уважаемая, что Ваша срамница дочь, служа в моем доме, обкрадывала меня и что при желании я могла бы отдать ее под суд, но такие люди, как я, стремятся избегать подобных мер. Коротко говоря, уважаемая, позаботьтесь, чтобы этот негодный человек не распускал языка. Мне известно, кто он и от кого исходят возмутительные и бесстыдные слухи обо мне. Это не кто иной, как та же нахальная особа, которая в моем доме запятнала себя выходками, противными добронравию и благопристойному образу жизни, притом совершила она их — и я могу это доказать — с тем же человеком, с каким теперь эта лживая сплетница приписывает грязную связь мне, своей бывшей хозяйке. Знайте же, что полученное письмо повергло меня в крайнее возмущение! Извольте присмотреть за этой злой, советую Вам по-дружески и по-сестрински, потому что Вы, как мне хотелось бы думать, женщина достойная и никак не виноваты в том, что Ваша бесстыдная дочь

воровка и сплетница. Иначе вместо столь долгих и благожелательных увещеваний я, как Вы понимаете, буду вынуждена прибегнуть к уголовно-правовым мерам. Почтение, которое окружающие выказывают даме, не помешает ей в случае необходимости обратиться к общественной справедливости, дабы увидеть, как клеветница, пытавшаяся очернить ее, понесет заслуженное наказание.

С приветом

уважающая Вас

г-жа Тоблер.

Пробежав глазами это послание, Йозеф сказал, что написано неплохо, но, на его вкус, чересчур высокомерно. Слог, каким воспользовалась г-жа Тоблер, под стать скорее средневековью, а не нашему времени, которое стремится мало-помалу, хотя бы и только внешне, стереть и уничтожить сословные различия. В столь резком тоне урожденная бургерша другой урожденной бургерше писать не вправе, это лишь вызовет озлобление, и тем самым письмо никоим образом не достигнет своей цели. Состоятельности вообще полезно не слишком заноситься перед бедностью, поэтому он считает вполне справедливым не просто обратиться к матери служанки на «Вы», но и назвать ее «сударыня», тогда тон письма станет немного сердечнее и учтивее, а это, по его мнению, будет ничуть не во вред. Видимо, у г-жи Тоблер нет большого навыка в составлении писем, что заметно уже по изрядному количеству описок, которые бросились ему в глаза при чтении, и, если она позволит, он охотно внесет поправки в это прелестное сочинение.

Йозеф засмеялся и добавил, что вычеркнул бы из письма упоминания о том, что девица воровка, хотя он со своей стороны ни секунды не сомневается в правдивости слов г-жи Тоблер, однако же это могло бы дать пищу всяkim глупым историям, которые принесут больше неприятностей, чем удовлетворения. Есть ли у нее доказательства?

Г-жа Тоблер слегка задумалась, а потом сказала, что напишет другое письмо. Возбуждение ее несколько улеглось, и она надеется изложить свои соображения спокойнее и мягче. Но в целом письмо должно быть все-таки выдержано в решительном тоне, иначе оно не имеет смысла. Иначе писать вовсе не стоит.

Пока она писала, Йозеф украдкой за нею наблюдал, рассматривая ее спину и шею. Мелкие, легкие колечки красивых, каких-то очень женственных волос пушились на гибкой шейке. И вообще она такая гибкая, ладная, эта г-жа Тоблер! Сидит вон и старается в меру здравого смысла и рассудка согласно правилам орфографии и надлежащей методе написать женщине, которая, вероятно, едва умеет читать. Теперь, глядя на нее, Йозеф невольно пожалел, что выговаривал ей за бургерски — добродорядочное высокомерие, которое, в сущности, считал очаровательным. Что-то его трогало в этой женщине, при каждом движении которой спинка платья покрывалась уютной рябью морщинок. Была ли она красива? В общепринятом смысле слова нет, даже наоборот. Но и это «наоборот» не соответствовало общепринятым понятиям. Йозеф продолжил бы свои неторопливые

наблюдения и выводы, если б пищущая не обернулась. Их взгляды встретились. Помощник тотчас отвел глаза от хозяйки, так ведь ему и полагалось. Йозеф чувствовал, не мог не чувствовать, что было бы просто наглостью смотреть хозяйке в глаза, вновь полные того самого удивления, в каком столь ярко отражалась гордыня, которая — этого нельзя отрицать — была ей очень к лицу. На что вообще годны глаза помощника, как не на то, чтобы избегать чужих взглядов и потупляться, и есть ли выражение более естественное для этих чужих взглядов, чем выражение удивления и недоумения? Посему Йозеф вновь склонился над своей работой, хотя сейчас ему было вовсе не до нее.

Полчаса спустя в беседке за кофе произошел довольно неловкий инцидент.

Г-жа Тоблер, которая, видимо, опять совершенно успокоилась, вдруг начала оживленно расхваливать Вирзиха: что, мол, этот, к сожалению, порочный человек во всем остальном был дальенным, ловким и умелым, как он тотчас же без лишних слов вникал в любую, даже мелкую, обязанность, в любую задачу и прочая и прочая; при этом она нет-нет да и взглядала на Йозефа с насмешкой, как ему невольно чудилось, и он обиделся. А потому воскликнул:

— Вечно этот Вирзих! Можно подумать, второго такого гения на свете нет! Отчего же он тогда не здесь, коли тут без конца твердят о его чуть ли не божественных дарованиях? Оттого что он пьянствовал? Да разве есть такое право — требовать от работника полнейшей безупречности и выгонять его на все четыре стороны, в суровый мир, потому только, что одно из его качеств, одно-единственное, бросило тень на прочие замечательные свойства его натуры? Ей-богу, это немного слишком. Преданность и ум, знания и исполнительность, умение поддержать разговор и покорность — все эти качества плюс некоторые другие, столь же положительные, мы спокойно и радостно используем, ведь так и должно быть, ведь взамен мы даем обладателю этого вороха достоинств жалованье, пищу и кров. Но вот однажды мы вдруг замечаем на прекрасном теле темное пятно — и все, конец уютному довольству, мы велим этому человеку собрать пожитки и катиться куда подальше, но после еще чуть не целый год пространно распинаемся о нем и его «положительных качествах». Надо признать, это не слишком корректно, в особенности когда всеми этими изумительными чудесами тычут в нос преемнику, вероятно, чтобы уязвить его, как это делаете вы, уважаемая госпожа Тоблер, со мною, преемником вашего разлюбезного Вирзиха.

Йозеф громко рассмеялся, нарочно, чтобы смягчить и рассеять крамольное впечатление от своей длинноватой речи. Он немного струхнул, сейчас, когда опомнился, и, чтобы скрасить весельем обидность своей тирады, засмеялся, но смех был принужденный, извиняющийся.

Йозефу — сказала после паузы г-жа Тоблер, незачем так разговаривать с нею, она подобного тона не потерпит, и ее удивляет, что он мог позволить себе такие манеры. Если он такой гордый и обидчивый, что не в силах слушать похвалы по адресу своего предшественника, то пусть строит уединенную хижину в горном лесу и живет там вместе

с дикими кошками да лисами, среди людей ему делать нечего. Нельзя ко всему на свете подходить с такими непомерными претензиями. Кстати, она просто обязана довести до сведения мужа Йозефовы речи — Тоблер должен знать, каков у него помощник.

Она хотела встать и уйти. В этот миг Йозеф воскликнул:

— Не надо ничего говорить! Я беру свои слова обратно. И прошу прощения!

Г-жа Тоблер скользнула по молодому человеку презрительным взглядом.

— Так-то лучше. — С этими словами она удалилась.

«Вовремя успел. Вон внизу идет Тоблер!» — подумал Йозеф. В самом деле, патрон сегодня вернулся домой намного раньше обычного.

Уже через четверть часа, скрупулезно проинформированный обо всем случившемся, г-н Тоблер сказал Йозефу:

— Что-то вы начали плохо относиться к моей жене, а?

Больше он ничего не добавил. А на жену, сетованиям которой не было конца-краю, прицыкнул, чтоб «она оставила его в покое с этими глупостями».

У инженера и правда были дела поважнее.

Вечером того же дня башенная комната, тихая, залитая мягким светом лампы, внимала новому монологу. Стягивая пиджак и жилет, Йозеф сказал себе вот что:

— Так больше дело не пойдет, надо крепче держать себя в руках. И что меня только за язык тянуло? Нагрубить госпоже Тоблер! Неужто для меня так важно и так ценно, что изрекают подобные дамы? Бедный господин Тоблер мотается по дорогам, а его драгоценный помощник тем временем рассиживается в беседках за кофе и несет всякий чувствительный вздор. Ох уж эти истории с женщинами! Да мне-то что, если госпоже Тоблер охота расхваливать достоинства этого Вирзиха? Ведь тут все ясно как божий день. Сей бледный рыцарь с похоронной физиономией произвел впечатление на женскую душу. Неужто это должно меня волновать? С какой стати? Вместо того чтоб ежечасно и ежеминутно думать о технических проектах, я из кожи лезу, стараясь доказать женщине свой характер. Что? Ах, характер! Будто кому-нибудь надо, чтоб инженерский сотрудник имел характер! Вечно у меня голова забита глупостями, а ведь ей положено размышлять о вещах по-настоящему полезных и нужных для дела. Разве у меня так мало чувства долга? Я ем хозяйствский хлеб, пью кофе и связываю с этими славными преимуществами и выгодами совершенно неуместную тоску по вредному бездумью. А потом произношу перед испуганной и удивленной женщиной полуучасовые речи, чтобы показать ей, как она меня разозлила. Господину Тоблеру от этого проку чуть, верно? Разве это облегчает его финансовое положение? Разве ждущие своего заказчика проекты сдвинулись с мертвый точки? Я живу здесь в одной из чудеснейших комнат на свете, с самым что ни на есть

прелестным видом из окна. Озеро, горы, луга бросили мне в глаза и под ноги как бесплатное приложение, а чем я оправдаю столь расточительную предупредительность? Бестолковостью! Что мне за дело до Вирзиха с его ночными похождениями? Для меня куда важней кое-что другое — фирма, чей знак у меня на лбу, чьи интересы я бы должен хранить в помыслах и в сердце. В сердце? Почему бы и нет? Сердце обязано быть при деле, чтобы пальцы и ум работали как надо. Не зря ведь люди говорят: «принять близко к сердцу».

Он долго ломал себе голову над тем, что же еще можно теперь сделать, чтобы крепко поставить на ноги часы-рекламу, да так и уснул за этими «деловыми размышлениями».

Среди ночи Йозеф вдруг проснулся. И сел на постели.

А-а, Сильви кричит. Он встал, подошел к двери, открыл ее и прислушался: в детской разыгрывалась очередная сцена.

— Ах ты, непутевая, опять тебе лень было сходить на горшок! — визгливо кричала Паулина.

Сильви хныкала, бессвязно оправдывалась, но, видимо, безуспешно, так как на все ее жалобные оправдания служанка отвечала шлепками — точно мокре белье выколачивала.

Йозеф оделся, спустился по лестнице в спальню девочки и мягко попенял Паулине. Но та завопила, что незачем ему тут вмешиваться, она сама знает, что надо делать, и пусть он убирается; после этого, словно желая показать, какую власть она имеет в детской, служанка дернула Сильви за волосы и велела ей идти в постель, да-да, в мокрую постель — таково будет наказание.

Помощник удалился, вроде бы покорно признавая главенство наставницы. «Завтра, послезавтра или еще когда-нибудь, — думал он, укладываясь под одеяло, — я непременно произнесу перед госпожою Тоблер вторую речь. Смешно? Ну и пусть! Любопытно все же, есть у нее сердце или нет. Как помощник в доме Тоблеров, я обязан замолвить словечко о Сильви, потому что она тоже член семьи, интересы которого мне положено представлять».

В следующее воскресенье, получив, как обычно, свои пять франков, он поспешил на поезд в столицу. Погода стояла прекрасная, теплая, а ехал он вдоль блистающего синевою озера. Уже при выходе из вагона столь знакомый прежде город показался ему совершенно чужим. Вот ведь как — даже относительно краткая отлучка способна изменить знакомое место и пролить на него иной свет. Ей-богу, никогда бы не поверил! Все выглядело таким маленьким. Набережная, где в ярком полуденном солнце гуляют толпы народу. Какие чужие, далекие лица! Какой бедностью веет от них! Конечно, это ведь скромный рабочий люд, а вовсе не господа, но флер некоего убожества, не имеющего ни малейшего отношения к скудости экономической нищеты, затягивал эту полную света картинку гулянья. В заблуждение Йозефа вводило не что иное, как чуждость,

непривычность, и он догадывался об этом и говорил себе, что, когда уже не одну неделю живешь в тоблеровской вилле, пропадает всякое желание изумляться городскому пейзажу и его отчужденности. У Тоблеров вроде бы и лица упитанней и румяней, и руки крепче, и вся повадка солидней, чем здесь, в легковесном городе, где люди мигом становятся плоскими и невзрачными. Мелкое и ограниченное сами по себе непременно образуют вполне большой и значительный мир, коль скоро человек хотя бы некоторое время не видит ничего другого; а вот просторное и по-настоящему значительное, наоборот, видится сначала мелким и непривлекательным, потому что слишком уж оно обширно, просторно и весело. В тоблеровском доме изначально царила некая махонькая пышность и изобилие, а это всегда много значит и мгновенно пленяет, тогда как приволье и простор обширных, раздольных панорам словно бы обдают холодом, ибо кажутся ненадежными. Истинно благое на вид всегда скромно, а вот тоблеровскому, или тираническому, напротив, опять-таки свойственны известный уют и сердечность, представляющиеся из башенных комнаток или чего-либо в этом роде заманчивыми и многообещающими. Всяческие путы и оковы порою теплей и куда полнее ласковых тайн, чем распахнутые всему миру окна и двери приволья, в чьих светлых покоях человека нередко вмиг охватывает свирепая стужа или гнетущий зной; но то приволье, какое имеет в виду он, Йозеф, — господи боже мой, это ведь, в конце концов, самое что ни на есть благоприличное, прекрасное, проникнутое бессмертными чарами.

Скоро, однако, зрелище городской воскресной жизни уже перестало казаться ему столь чуждым, надуманным и неотесанным, и чем дальше он шел, тем привычней глазу и сердцу было все вокруг. Взгляд его прогуливался в толпе гуляющих, нос, привыкший к тоблеровской кухне, вновь ловил запахи города и городской суэты, ноги вновь бодро мерили городскую мостовую, будто и не ступали никогда на землю провинции.

До чего же ярко светит солнце и как скромно держатся люди! До чего же здорово — раствориться в суете, стоянии, хождении, сновании взад-вперед, туда-сюда! Как высоко взметнулся купол небес, как ласкает все вокруг — предметы, тела, движения — солнечный свет, как легкой радостно мелькают тени! Волны озера отнюдь не сердито бьются о каменные набережные. Все такое мягкое, такое укромное, такое легкое и прелестное, огромное и в то же время маленькое, близкое и далекое, просторное и изящное, ласково-нежное и значительное. Скоро все, что видел Йозеф, словно бы обернулось непосредственной, тихой, доброй грезою, не слишком прекрасной, нет, скромной и тем не менее очень красивой.

Под деревьями небольшого парка, или сквера, отдыхали на скамейках люди. Как часто Йозеф, когда жил в городе, занимал, бывало, ту или иную из них. Вот и теперь он опустился на скамью, рядом с какой-то хорошенькой девушкой. Из разговора, который начал помощник, выяснилось, что она приехала из Мюнхена, ищет работу в этом совершенно чужом для нее городе. Вид у нее был бедный и несчастный, но Йозеф уже не первый раз встречал на этих лавочках бедных опечаленных людей и заводил с ними беседу. Они поговорили немножко, потом мюнхенка внезапно собралась уходить. Может быть, ей нужны деньги? Так Йозеф готов помочь...

— Нет-нет, — запротестовала девушка, но деньги в конце концов взяла и распрошалась.

Кто только не сидел на таких муниципальных скамейках! Йозеф принял разглядывать людей, одного за другим, скользя глазами по кругу. Вон тот одинокий молодой человек, который чертит на песке тростью какие-то фигуры, ей-ей, наверняка помощник приказчика из книжной лавки. Впрочем, возможно, и не из книжной, ну тогда он принадлежит к армии продавцов из универсальных магазинов и, конечно же, имеет свои «виды» на воскресенье. А вот эта девушка напротив — кто она? Кокотка? Чья-то компаньонка? Или послушное, жеманное декоративное растеньице, кукла, чуждая переживаний, какие мир со щедростью и теплом протягивает людям, точно дивный букет цветов? Или она двулика, а то и трехлика? Возможно. Ведь бывало и так. Жизнь не столь уж просто разложить по полочкам да ящичкам. Ну а тот немощный старик с растрепанной бородой — кто он? Откуда пришел сюда? Чем занимается? Каким ремеслом? Может быть, он нищий? Или из тех загадочных подмастерьев, что просиживают будни в достославных конторах по найму, зарабатывая то поденно, то понедельно франк-другой? Кем он был раньше? Носил ли в былые времена элегантный костюм вкупе с тою же тростью и перчатками? Ах, жизнь не скучится на огорчения, но иной раз и радостью подарит, и душевным смирением, и наполнит сердце благодарностью, хотя бы за каплю сладкого вольного воздуха, которым ты можешь дышать... А там, слева, — что это за изысканная, и даже более того, благородная пара влюбленных или нареченных? Может, это путешественники, англичане либо американцы, мимоходом наслаждающиеся всем сущим в мире? У дамы на маленькой, как бы невесомой шляпке красуется изящное перышко, а кавалер смеется, и вид у него такой счастливый, нет, оба они счастливые! Пусть их смеются без умолку, ведь как это чудесно — смеяться и радоваться.

Дивное, милое, долгое лето! Йозеф встал и медленно пошел дальше, по богатой, фешенебельной, но тихой улице. Что ж, в воскресные дни богачи сидят дома, их нынче редко увидишь; выйти в такой день на улицу, должно быть, не вполне прилично. Все магазины закрыты. Редкие прохожие бродят по улицам, зачастую это довольно неприглядные мужчины и женщины. Каким смирением дышит такой вот сумбурный образ гуляющей толпы! Каким до горечи жалким может выглядеть летнее воскресенье. «Смириться, — подумал Йозеф, — н-да, для иного это последнее в жизни прибежище».

Так он и шел, минуя новые и новые улицы.

Сколько же их, этих улиц! Дом за домом тянутся они по равнине, взираются на холмы, бегут вдоль каналов, большие и маленькие каменные блоки, изрытые жилищами для богачей и бедняков. Нет-нет да и мелькнет церковь — прочная, гладкая, новая, а то внушительная, спокойно-величавая, старинная, чья выщербленная кладка увита плющом. Йозеф миновал полицейский участок, где-то здесь много лет назад ему однажды врезался в уши пронзительный вопль истязаемого человека: связанного по рукам и ногам, его пытались усмирить палочными ударами.

Теперь дорога привела его на мост, улицы становились все беспорядочней и путанней, местность, по которой он шел, обрела сходство с деревней. У порогов сидели кошки, дома были окружены палисадниками. Вечернее солнце бросало желтовато-красный отблеск на высокие стены, на деревья в садах, на лица и руки людей. Окраина.

Йозеф вошел в один из новых домов, которые придавали этой почти сельской местности странноватый вид, поднялся по лестнице на четвертый этаж, постоял на площадке, для приличия отышался, слегка отряхнулся от пыли и позвонил. Женщина, которая отворила дверь, увидев помощника, негромко вскрикнула от удивления:

— Неужели это вы, Йозеф? Вы?.. Входите же!

Пожав Йозефу руку, она потянула его в комнату. Там она долго смотрела ему в глаза, потом сняла с довольно-таки смущенного юноши шляпу и с улыбкой проговорила:

— Сколько же лет мы не виделись! Садитесь. — Она умолкла, но секунду спустя продолжила: — Ну, иди же сюда, Йозеф. Садись к окошку. И рассказывай. Я хочу знать, как тебе удалось так долго прожить, не написав мне ни единого словечка и ни разу меня не навестив. Выпьешь что-нибудь? Говори, не стесняйся. У меня есть немного вина.

Она усадила его рядом с собой у окна, и он начал рассказывать о резиновой фабрике, об английских фунтах, об армейской службе и о фирме Тоблера. Внизу на лужайке в лучах закатного солнца шумно реввилась детвора. Изредка доносился свисток паровоза, а то и пьяные крики и пение какого-то забулдыги, одного из тех подмастерьев, что повадились отмечать воскресные дни безобразными воплями, как бы ставя на них огненно-красное клеймо.

Имя и история женщины, которая внимала сейчас своему молодому знакомцу, очень просты.

Ее звали Клара, и выросла она в семье плотника. По случайности, она была землячкой Тоблера и потому кое-что знала о юности инженера. Воспитание Клара получила строгое, католическое; но с тех пор как она вступила в жизнь, взгляды ее полностью изменились, она зачитывалась произведениями вольнодумных авторов вроде Гейне и Берне. Работала Клара в фотографической студии, сперва ретушером, затем приемщицей и счетоводом; когда владелец студии влюбился в нее, она сошлась с ним, не без раздумий о последствиях столь независимого поступка, и даже более того, глядя этим последствиям прямо в глаза, решительно и открыто, и была очень счастлива. Она по-прежнему жила в родительском доме, только младшая сестра умерла меж тем от чахотки. Каждый день после работы Клара возвращалась домой, ехала поездом, час с четвертью. В это самое время Йозеф и начал бывать у нее. Ей нравился молодой, едва достигший двадцати лет парень, и она любила слушать его юношески незрелые излияния.

Удивительное тогда было время, удивительный мир. Сумасбродная и вместе с тем привлекательная идея по имени «социализм», точно пышная лиана, оплела головы и тела

людей, не пропуская никого — даже умудренных опытом старцев; эта идея занимала всех до единого писателей и поэтов, всю молодежь, скорую на руку и на решения. Газеты социалистического толка и характера ослепительно яркими дурманными цветами тянулись из тьмы предприимчивости к изумленной и обрадованной публике. Вокруг рабочих и их интересов шума в те годы, как правило, поднимали много, но не очень всерьез. Часто устраивали шествия, во главе которых шагали и женщины, высоко вздымая кроваво-красные или черные стяги. Все, кто был недоволен обстоятельствами и порядками на свете, с надеждой примыкали к лагерю приверженцев этого страстного идеино-эмоционального движения, а авантюризм определенного сорта крикунов, скандалистов и краснобаев, с одной стороны, хвастливо превозносил это движение, с другой же — снижал его пафос до тривиальности, на что враги «идеи» взирали с удовлетворенным издевательским смешком. Эта идея свяжет и объединит весь мир, Европу и прочие континенты — так говорили между собой молодые, не вполне зрелые умы — в радостном союзе людей; но лишь тот, кто работает, вправе... и так далее.

Йозеф с Кларой были в ту пору целиком и полностью охвачены этим, я бы сказал, благородным и прекрасным огнем; по их общему мнению, его не могли погасить ни струя воды, ни дурные наветы, он алой зарей сиял над всем земным шаром. Оба они, как было модно в те годы, любили «человечество».

Нередко они часами, до глубокой ночи, засиживались в комнате, которую Клара занимала в отцовском домике, и беседовали о науках и о сердечных делах, причем Йозеф, обычно робкий в общении с людьми, говорил за двоих, да так оно и подобало, ведь подруга представлялась ему почтенной наставницей, перед которой ему надлежало излагать и развивать свои мысли как более или менее хорошо заученный урок. До чего восхитительны были эти вечера! Каждый раз, провожая Йозефа, женщина — тогда еще девушка — выходила со свечой на лестницу посветить ему и говорила нежным своим голосом «до свидания» или «прощай». Как блестели ее глаза, когда он оборачивался, чтобы еще раз посмотреть на нее.

Потом у Клары родился ребенок, и она стала «свободной женщиной», поскольку очень скоро поняла, что ее друг, фотограф, жестоко предал ее, и восприняла это как откровенное пренебрежение; и вот однажды вечером — Клара жила в крайне стесненных обстоятельствах — она просто указала ему на дверь и коротко бросила: «Уходи!» Он был недостоин ее! Она была вынуждена храбро признаться себе в этом или — отчаяться. Но с того дня она больше не любила «человечество», а боготворила своего ребенка.

Клара выстояла, она была мужественна и с малых лет приучена к труду. В скромом времени она обзавелась собственным фотографическим аппаратом, устроила темную комнату и теперь, любовно воспитывая и пестуя своего малыша, переживая тяготы, и радости, и заботы матери, попутно делала снимки для открыток и, как самый терпкий делец, вела переговоры с различными торговцами и оптовиками. Жила она вместе с подругой юности, с которой судьба обошлась примерно так же. Это была некая г-жа Венгер, неглупая, но необразованная женщина, «хороший парень», как отзывалась о ней

Клара. Муж г-жи Венгер числился солдатом Армии спасения, хотя и умом, и характером человек он был резкий и прямой, а вовсе не фанатик-святоша. К фанатикам он примкнул по сугубо практическим соображениям. «Вступай-ка ты, Ганс, в это общество, там скорей отвыкнешь от пьянства!» — сказала ему собственная жена. Дело в том, что Ганс пил горькую.

Йозеф частенько захаживал к этим двум женщинам, и принимали его охотно. Здесь никогда не скучились — чем-нибудь да угостят, хоть кружкой молока или стаканом чая, — и компания была веселая, но веселая в меру той сдержанной деликатности, какая свойственна женщинам с некоторым жизненным опытом. Они смеялись и полагали, что вправе смеяться теперь, когда малая толика мира осталась позади. Обсуждали Кларина сына и его нрав. О, какой опыт был уже приобретен. Йозеф тоже не заикался более о «человечестве». Все это давно миновало. Чем труднее было стать «правильным человеком», тем меньше хотелось прибегать к высоким словесам, а оставаться «правильным» было ох как трудно, и понимание этого крепло день ото дня.

Постепенно Йозефовы визиты сделались реже, и в конце концов вышло так, что он не появлялся у Клары целый год. Потом в один прекрасный день она получила на удивление короткое письмо: нельзя ли ему зайти снова? Она, конечно, пригласила его; так повторялось несколько раз, с большими перерывами.

И вот теперь он сидел у окна, а она слушала его рассказ.

Сама Клара тоже кое-что рассказала, в том числе сообщила, что скоро выходит замуж. У ребенка должен быть отец, да и ей нужна мужская поддержка, она частенько прихварывает и не в состоянии, как раньше, вести свое дело, которым занималась столько лет. Силы у нее уже не те, чтобы жить в одиночестве, без любви, она только и мечтает, чтобы ласковая рука и доброе, открытое сердце сняли усталость, терзающую ей душу. Она всего лишь женщина, женщина, не утратившая надежды. Мужчина, на которого пал ее выбор, просто дал себя уговорить, растрогать и выбрать; в целом история слишком примитивная, чтобы странно о ней разглагольствовать. «Он» любит ее и желает одного: сделать ее счастливой. Разве это не самое простое на свете? Что же скажет Йозеф, ее старинный знакомый? Нет, пусть лучше молчит, она ведь уверена, что сейчас у него на языке вертятся просто-напросто дежурные фразы, уж его-то она знает, и вполне достаточно.

Клара с улыбкой взяла его за руку. И продолжала: дни былого, прекрасные дни былого! Как хороши были все эти минувшие дни и как «правильны»! И многочисленные ошибки — тоже правильно, справедливо. И глупости — необходимы! Юность полна ошибок, она обязана мыслить и действовать опрометчиво, чтобы жизнь шла вперед. С опытом так или иначе приходит достаточно мыслей и чувств, и долгая жизнь вытесняет, душит юность.

Оба они говорили о прошлом, наперебой, подхватывая недосказанные фразы, чтобы одобрить их и повторить.

Когда люди вновь находят друг друга, разногласий не бывает, не бывает и все. Воспоминания задумчиво и тепло слетают с их губ, голоса сплетаются, изреченное слово встречает лишь одобрение и отклик, но не протест, а диссонансы бывают, как говорится, чисто музыкальные.

Да, былое вернулось, и обвевало их своими крылами, и заставляло оглянуться и как бы с верхушки лестницы бросить взгляд назад и вниз. Им незачем было напрягать память, она сама клонила нежные свои побеги и ветви к сокровищам воспоминаний, чтобы явственно их приблизить, принести в дар.

— Я так часто бывал капризен и мелочен, — с раскаянием сказал Йозеф. А Клара заметила, что он все же единственный, кто нет-нет да и заходит к ней.

— Хоть с большими перерывами, но ты приходишь, опять и опять. Нравится тебе делать из себя редкость; но во время этих перерывов меня преследует ощущение, будто ты обо мне думаешь. А потом в один прекрасный день ты появляешься снова, и просто удивительно, как мало ты меняешься, как здорово умеешь оставаться прежним. И разговор идет такой, словно ты только на минутку отлучился в ближайшую булочную, а не отнял у дружбы по своему обыкновению целый год; беглец несчастный, ты будто и не уходил никуда. Другие мужчины, Йозеф, умеют уйти навсегда, жизнь швыряет их в новое русло, и они никогда не возвращаются к берегам старой дружбы. Тобой — слышишь? — жизнь слегка пренебрегает, вот почему ты так легко хранишь верность собственным симпатиям. Я не хочу ни обидеть тебя, ни хвалить, то и другое было бы неискренне, а ведь мы до сих пор прекрасно обходились без фальши, верно? Чем бы мы ни были друг для друга, мы остаемся самими собой.

За разговорами настал вечер. Они попрощались.

— Ты скоро заглянешь опять?

Йозеф, надевая шляпу, сказал, что раз уж он, по ее словам, вечно одинаков, то, наверное, безразлично, когда он придет — через несколько дней или через несколько лет. Из-за этих обидных слов расстались они холодно.

«Теперь, господин помощник, или как тебе там угодно прозвываться, ты вновь на вилле Тоблеров, запомни, и часы-реклама, прямо как птица, хлопая крыльями, носятся над твою склонной к поэзии головой. Воскресное послабление миновало, и ты вновь угодил в когти суровых, жестких будней, и придется тебе корчить из себя молодца, коли ты желаешь хоть как-то выдержать их мощный натиск. Спокойно оставайся «прежним», как выразилась твоя подруга Клара, от этого меньше вреда, чем если бы вдруг начал внушать себе, что должен стать совершенно «новым» человеком. В одночасье новым не станешь — если угодно, заруби на носу и это. Но если «жизнь кем-то пренебрегает» — опять-таки чисто женская поговорка, и как будто бы меткая, — надо бороться с этим и впрямь недостойным небрежением, слышишь, а не толковать со старинными приятельницам и о былом в разгар яркого дня и вечерами, полными грустного

сумеречного света. Об этом изволь покуда забыть. Теперь твой долг — вспомнить о своих обязанностях, потому что воскресенья и воскресные прогулки делятся, поди, не вечно, и признать, что этими обязанностями некий помощник до сих пор тоже слегка «пренебрегал», в точности как жизнь до сих пор пренебрегала самим этим господином. А моя бестолковость? Вполне ли с нею покончено? Так скоро ума не наживешь, тут надо работать. Главное — не терпи в себе вялости, и, как говорят, потихоньку-полегоньку что-нибудь да придет в голову. Часы-реклама повержены наземь и жалобно молят о свободных капиталах. Что ж, подойди к ним, поддержи их, чтобы они вновь потихоньку-полегоньку поднялись и сумели раз навсегда укрепиться в умах и суждениях людей.

Задача, если угодно, достойная твоего духа и полезная. Только позаботься о том, чтобы из патронного автомата тоже поскорей хлынули патроны, не медли так долго, энергично тяни за рычаг, и тогда машина, столь хитроумно придуманная и построенная твоим хозяином и наставником господином Тоблером, непременно придет в движение. Прочь эмоций! Не все же гулять, надо и делом заняться, при случае — только не через недельку-другую, а как можно скорее — стоит присмотреться и к буру, дабы войти в курс всех без исключения тоблеровских проектов. Весьма скромная обязанность для того молодого человека, которому дозволено — и он это ценит — помогать госпоже Тоблер развешивать в саду белье. Пора и о подспудных вещах задуматься, они в инженерном бюро важней всего. Вас, любезный господин Поливальщик, призвали сюда, на этот зеленый холм, не затем, чтобы вы натягивали бельевую веревку. Вы ведь предпочитаете поливать сад, а? Стыдитесь! Вы хоть раз подумали о патентованном кресле для больных? Нет? Боже милостивый, хорош сотрудник! Недаром жизнь вами «пренебрегает».

Вот какие мысли бродили в голове у Йозефа, когда он в понедельник утром открыл глаза. Он встал, собираясь сменить ночную сорочку на дневную, и добрую минуту созерцал собственные ноги. После того как ноги были изучены, настал черед проэкзаменовать голые руки. Йозеф стал перед зеркалом и нашел весьма увлекательным поворачиваться то так, то этак, рассматривая свое тело. Хорошее, ловкое тело, здоровое, способное выдерживать тяготы и лишения. С таким телом поистине грехно валяться в постели дольше, чем необходимо для отдыха. Землекоп и тот не мог бы похвастаться более здоровыми, крепко сбитыми членами. Йозеф начал одеваться.

Медленно, не торопясь. Ведь пока время есть, одна-две минуты погоды не делают. Тоблер, правда, держался на сей счет иного мнения, как Йозеф уже имел возможность убедиться, но нынче Тоблер и сам понедельничал. Понедельничать — значило дольше обычного оставаться в постели, дать себе поблажку по сравнению с другими днями недели, понежиться, и как раз Тоблер был по этой части большой дока, стало быть, нынче он объявитя внизу, среди технических решений и проблем, никак не раньше половины одиннадцатого.

Волосы сегодня утром что-то очень уж плохо слушаются щетки и гребня. Зубная щетка напоминала о минувших временах. Мыло, предназначенное для мытья рук, выскользнуло и угодило под кровать, пришло нагибаться и выуживать его из самого дальнего угла.

Воротничок был высок и тесен, хотя накануне сидел отлично. Чудеса да и только! А скучно-то как — сил нет.

В другом месте и в другой час все это, возможно, было бы очень мило, поучительно, изящно, изысканно, забавно и даже восхитительно. Йозеф помнил, случались в его жизни периоды, когда покупка нового галстука или английского котелка могла повергнуть его в душевное волнение. Еще полгода назад он пережил такую шляпную историю. Шляпа была не слишком высокая, вполне хорошая, нормальная, из тех, что обыкновенно носят «приличные» люди. Он, однако, не ждал от этой шляпы ничего хорошего. Тысячу раз примерил ее перед зеркалом и в конце концов положил на стол. Потом отошел шага на три от миловидного чудовища, не спуская с него глаз, — так дозорный наблюдает за врагом. Придраться было не к чему. Засим Йозеф повесил шляпу на гвоздь — она и там выглядела безобидно. Примерил опять — кошмар! Шляпа словно решила расколоть его надвое. Он не мог отделаться от ощущения, будто его «я» распалось на две половинки, захмелело, преисполнилось наглости. Он вышел из дома: его шатало как какого-нибудь презренного забулдыгу, он чувствовал себя потерянным. Вошел в кофейню, снял шляпу: спасен!.. Да, такая вот шляпная история. Случались в его жизни и истории с воротничками, пальто и ботинками.

Он спустился в гостиную позавтракать. Ел он с необузданной жадностью, прямо-таки неприлично. Правда, за столом никого не было — и тем не менее! Именно поэтому! О приличии за едой забывать не след. И с чего бы это он так оголодал? Потому что понедельник? Нет, просто у него не хватало характера, вот в чем дело. Он так по-детски радовался, отрезая ломоть хлеба, а хлеб-то был не его, Тоблеров; потом он с упоением поглощал жареную картошку, а чья это была картошка, как не Тоблерова? Ему доставляло огромное наслаждение съесть еще что-нибудь через «не хочу», а разве кому от этого вред? Покончив с завтраком, он бы, собственно, мог встать и приняться за работу, но что делать, если ты словно приклеился к месту, если у тебя нет сил оторваться от стула? Потом пришла Паулина и прогнала его своим неприятным видом.

Контора. Сперва немного походить из угла в угол, это ведь тоже для дела, вроде как разминка перед началом работы. Йозеф что же, принадлежит к числу тех, кто начинает дело с передышки и только по ее окончании, вернее в ее разгар, становится энергичен, энергичен опять-таки лишь для того, чтобы ринуться в какое-нибудь дешевое удовольствие? Он не спеша раскурил одну из достославных сигар, что обыкновенно так подслащали ему мысль о начале работы, и принял попыхивать ею как заправский клубный курильщик.

Потом он уселся за свой письменный стол и начал доказывать свою полезность.

Около десяти явился Тоблер, очень веселый, как тотчас же заметил Йозеф. Посему можно было вложить в «доброе утро, господин Тоблер» чуточку небрежности и вновь раскурить сигару. И правда, фигура начальника и главы фирмы лучилась необычайной радостью.

Видно, накануне вечером он изрядно покутил. Каждый из его жестов словно говорил: «Ну, теперь я знаю, в чем загвоздка. Отныне в моих делах наступит поворот».

Он любезнейшим образом осведомился, какое направление приняли Йозефовы воскресные развлечения, и, когда тот сообщил, где побывал, воскликнул:

— Вот как? В город ездили? И как он вам после столь продолжительного отсутствия? Недурен, а? Конечно, городам есть что показать, но в конце концов и обратно возвращаешься с удовольствием. Прав я или нет? Но что я хотел сказать: у вас, я заметил, простите великодушно, хм, у вас не больно-то приличный костюм. Зайдите сегодня к моей жене, она даст вам мой костюм, он еще как новый. Скажите только «серый» — и она сразу поймет который. И незачем вам стесняться, я так и так его не ношу. А в придачу у нас найдется и парочка цветных рубашек вкупе с манишками и манжетами, вам они явно подойдут. Ну как вы?

— Мне все эти вещи не нужны, — сказал Йозеф.

— Почему? Вы сами видите, они вам просто необходимы. Не стоит церемониться, когда вам что-нибудь дают! Берите — и дело с концом.

Тоблер даже рассердился. И внезапно ему пришла в голову одна мысль. Он уселся на стул среди механизмов опытного образца патронного автомата и, немного помолчав, сказал:

— Я, кажется, знаю, о чем вы думаете, Марти. Верно, жалованья вы не получали и, должно быть, решили, что его и не будет. Наберитесь терпения. Другим тоже ведь приходится набраться терпения. Впрочем, хотелось бы надеяться, что вы не станете из-за этого смотреть на меня укоризненно. Я такого ни под каким видом не потерплю. Кто питается, как вы, и дышит тем воздухом, каким вы дышите здесь, у меня, тому до жалоб еще ох как далеко. Вы живете! И не забывайте, в каком состоянии вы были, когда я в городе предложил вам работу. Вид у вас теперь просто княжеский. Ну а за это не грех быть хотя бы чуточку мне благодарным.

Йозеф заговорил и впоследствии сам удивлялся, где взял столько наглости:

— Ладно, господин Тоблер! Но позвольте подчиненному заметить вам, что мне довольно-таки неприятны постоянные напоминания о хорошем питании, чудесном воздухе и о перинах и подушках, на которых я сплю. От этого начисто теряется все удовольствие от воздуха, сна и еды. На каком таком основании вы без конца попрекаете меня природными условиями и удобствами, которые я здесь имею? Я кто — нищий или батрак? Спокойно, господин Тоблер. Прошу прощения, это отнюдь не скандал, я просто стараюсь внести ясность, необходимую для нашего взаимопонимания. Мне хотелось бы подчеркнуть три момента. Во-первых, я признателен вам за все, что вы мне «предоставляете». Во-вторых, вам это известно, ибо вы без труда могли уяснить это из моих поступков, а в-третьих, я кое-что делаю, доказательством чему тот факт, что моя совесть и ваш ум еще терпят меня здесь. Что же до одежды, которую вы по доброте вашей желаете мне подарить, то я как

раз сейчас передумал: я принимаю ваш дар с приличествующей благодарностью. Честно говоря, белье и платье мне пригодятся. Тон этой речи вам придется мне простить, иначе вы будете вынуждены вышвырнуть меня за дверь. Эта речь и этот тон были необходимы, ибо я ощущал искреннюю потребность показать вам, что в случае чего сумею... как бы это выразиться... защитить себя от грубостей.

— Разрази меня гром! Ну и язычок у вас, за словом в карман не лезете. Откуда что берется. Смешно, ей-богу. С ума вы, что ли, сошли, Йозеф Марти?

Тоблер счел за благо расхохотаться. Но уже в следующий миг сердито нахмурил лоб.

— Так покажите-ка, черт подери, что вы умеете работать. До сих пор я это не очень-то замечал. Длинный язык — не бог весть какое достижение, ясно? Где письма, на которые надо ответить?

— Тут! — уныло сказал Йозеф.

Он опять совершенно оробел. Письма лежали в неподложенном месте. Тоблер схватил корзину с корреспонденцией, в сердцах шваркнул ее об пол и взревел:

— И он еще кочевряжится! Лучше работайте как следует да поменьше считайте обиды!.. Пишите! — И он продиктовал вот что: — Г-ну Мартину Грюнену. Фрауэнберг. В ответ на Ваше письмо, в котором Вы извещаете, что первого числа будущего месяца достигнутое нами в свое время соглашение о ссуде размером в пять тысяч франков, предназначеннной на реализацию проекта часов-рекламы, будет расторгнуто, я почитаю своим долгом — написали? — заявить следующее. Первое: нынешнее мое финансовое положение полностью исключает возможность возврата поименованной суммы в указанные сроки. Второе: Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что имеете законное право настаивать на столь скромном возврате денег, ибо — третья, — заключая соглашение, мы, помнится (при необходимости я могу подтвердить это документально), договорились — готово? — что долг подлежит возврату лишь тогда, когда в ситуации с часами-рекламой твердо наметится выгодная перспектива. Четвертое: пока это места не имеет. Пятое: данная ссуда может рассматриваться только в связи с данными часами-рекламой, равно как выплата ее неотделима от успеха упомянутого предприятия. Шестое: возникает вопрос, допустимо ли вообще в случае, подобном нашему, требовать возмещения ссуды в такие сжатые сроки. Главное: ссуженный капитал вложен в означенное предприятие и подвержен тем же рискам... Милостивый государь, надеюсь, что, изучив мою точку зрения, Вы еще раз серьезно взвесите этот вопрос. Учитывая ситуацию, в которой я нахожусь, Вы едва ли пожелаете разорить дельца, который изо всех сил старается спастись от падения в грозящую ему пропасть. Если Вы хотите вернуть свои деньги, не торопите меня. Часы-реклама еще покажут себя! Льщу себя надеждой, что сумел переубедить Вас, и остаюсь уважающий Вас... Дайте-ка сюда! — Тоблер поставил свою подпись и еще целую минуту с отсутствующим видом глядел на бумагу.

Помощник тем временем тоже думал о своем. «Вот он каков, этот господин Тоблер. Сперва держится высокомерно, угрожает, а потом раз — и в кусты и просит учесть, что... Думает, господин Грюнен не пожелает. А вдруг пожелает? Что тогда? В таком тоне пишут от отчаяния. Сначала высокопарно, потом веско, потом хвастливо, потом едко, насмешливо, а потом вдруг робко, потом сердито, потом умоляюще, потом неожиданно грубо, потом — грудь колесом и опять свысока: часы себя покажут! Кто это гарантирует? О, такой продувной кредитор, как этот Грюнен из Фрауэнберга, только злорадно ухмыльнется, читая сие прочувствованное послание».

— По-моему, тон письма не совсем верен, — рискнул вполголоса заметить он. Это была искра в бочке с порохом.

Тоблер так и взвился: что за глупости Йозеф тут болтает?! Коли ему непременно надо отпускать замечания, то нечего вылезать с ними, когда дело уже сделано, пусть шевелит мозгами поживее, а к тому же остерегается брякать глупости вроде тех, какие он вот только что себе позволил.

— Вздор! — воскликнул инженер, схватил шляпу и вышел.

Йозеф снял с письма копию на копировальной машине, сложил его, сунул в заранее надписанный конверт, запечатал и наклеил марки.

Поскольку из типографии уже поступило несколько сот циркуляров, Йозеф начал аккуратно складывать их, чтобы затем разослать во все концы страны. В циркуляре содержалось красиво набранное и снабженное схемами точное описание небольшого паросборника, также тоблеровского изобретения, вкупе с прейскурантом. В первую очередь необходимо было разрекламировать этот аппарат на многочисленных, разбросанных в окрестностях Бэренсвиля и по всей стране фабриках и в механических мастерских, в результате чего, вероятно, будет получена изрядная прибыль.

До самого обеда помощник складывал эти бумажки, работа казалась ему веселой и прямо-таки способствующей размышлению. Потом он отправился обедать. За столом никто не проронил ни слова, кроме Доры, которая просто не могла держать свой прелестный ротик закрытым. Мальчики, как выяснилось, совершенно отбились от рук. Г-жа Тоблер сетовала на долгие школьные каникулы, называя их причиной общего нравственного одичания молодежи, и, по ее словам, была искренне рада скорому началу занятий; слава богу, скоро для этих сорванцов придет другое времечко. Авторитет и бамбуковая трость учителя, быть может, и добьются того, в чем не преуспела мать: научат мальчишек вежливости и послушанию. Вот и отлично, что осень не за горами. В эти длинные прекрасные летние дни мелюзга от скуки не знает куда себя деть, — то-то и изощряется в скверных и глупых шалостях.

При слове «осень» у Йозефа екнуло сердце. «Чудесная осень!» — подумал он. Минуту спустя он покончил с едой, встал и сказал г-же Тоблер, что у него нет денег на почтовые марки. Г-жа Тоблер была неприятно удивлена: неужели ей и об этом надо заботиться? —

вздохнула и, надув губки, — но все же слегка польщенно — выдала помощнику желаемую сумму. Выходит, чтобы раздобыть денег на почтовые марки, необходимо обращаться тоже к ней, к хозяйке. Йозеф опять прикинулся немного обиженным.

В конце концов, он подчиненный мужа, а не помощник жены. Как тягостно выклянчивать каждые два франка у женской юбки! Г-жа Тоблер заметила его неуместный гнев и только искоса смерила Йозефа взглядом.

Он отправился на почту. В саду несколько рабочих с подручными орудовали лопатами, рядом с ними высилась огромная куча земли, влажной от недавнего дождя.

— В довершение всего еще и подземный грот. И о чем только Тоблер думает? — пробурчал Йозеф, выходя на проезжую дорогу.

Из открытых дверей расположенного неподалеку трактира «Роза» тянуло сивухой. Это здесь Вирзих пропивал свое жалованье. Отсюда он, шатаясь, брел в «другой мир», оставив под столом в «Розе» свою лучшую половину.

В деревне помощник, по недавно приобретенной привычке, наведался в ресторан «Парусник» — и кого же он там увидел за круглым столом завсегдатаев? Тоблера!

Вот они, значит, оба — хозяин и помощник, — и где же? В питейном заведении.

Само собой, просто необходимо как можно скорее плеснуть в костер гнева рюмочку, чтобы охладить и затушить жар, распирающий грудь, и не менее естественна жажда у подчиненного, который только что был вынужден «克莱нчить» деньги на марки и поэтому настроен довольно сердито. «Рюмочка» вполне может развеять досаду. Само собой, это и можно и должно, однако оба на миг ощутили известную неловкость, оттого что, внезапно столкнувшись в «Паруснике», уличили друг друга в намерении выпить, и оба коротко, но многозначительно переглянулись.

— Вот как? Вы, кажется, тоже изнываете от жажды? — сказал г-н Тоблер вошедшему, веско, но дружелюбно.

— Да, что поделаешь, — отозвался тот.

Г-н Тоблер всегда дожидался в «Паруснике» того или иного поезда, вот и сейчас «попросту ждал» онего. Ресторан находился совсем рядом с вокзалом. Но как часто Тоблер тем не менее пропускал свои поезда; у ресторатора порой прямо-таки напрашивалась мысль, что он пропускает их нарочно. В таких случаях инженер обычно ворчал: «Ну вот, опять этот паршивый поезд из-под носа ушел!»

Йозеф осушил свою рюмку и направился к двери, а патрон крикнул ему вдогонку через весь зал:

— Напишите часовщику… как его там… пусть не откладывая начнет сборку часов для ветки Утцвиль — Штефен! Письмо должно уйти сегодня же! Остальное вы, поди, сами знаете.

Йозеф слегка устыдился своего «говорливого» принципала, как он про себя звал Тоблера. Кивнув, он вышел на улицу.

Путь его лежал к переплетчику и торговцу писчебумажными товарами. Там он набрал массу всяких мелочей для конторы и чертежной и велел «записать все это в книгу».

Маленькая расчетная книжка, чего в нее только не заносили! Берешь товар и бодро велишь записать в книгу.

Владелец писчебумажного магазина позволил себе спросить, может ли он получить некоторую сумму наличными и когда именно.

— О, как-нибудь при случае, — небрежно бросил Йозеф. «Я поступаю совершенно правильно, — подумалось ему, — с такими людьми надо говорить небрежно, это вызывает у них полное доверие. Где не выказывают озабоченности, там ее как бы и не требуется. Прими я вопрос этого человека всерьез, он бы наверняка что-нибудь заподозрил и уже завтра утром явился в бюро с готовеньким счетом. Моему хозяину только во благо, если я буду и впредь отводить от него мало-помалу возникающие подозрения».

Размышляя об этом, Йозеф с виду безмятежно изучал коллекцию открыток. Выходя из лавки, он приветливо улыбнулся, и хозяин ответил ему тем же.

Дома он вновь принял складывать циркуляры. На каждый уходило четыре движения. При этом Йозеф мечтал. Такая работа прямо-таки магнитом тянула задушевно поразмышлять о чем-нибудь. Временами он делал пьянящую затяжку сигарой. У окна конторы, совсем рядом с Йозефовым столом, на специально поставленной там садовой скамеечке сидела г-жа Тоблер; она шила и певуче ворковала со своей Дорочкой.

«Эх и здорово живется этой крохе!» — подумал Йозеф.

— Вы что же, собираетесь отослать всю эту массу циркуляров? — спросила г-жа Тоблер. И добавила: — Кстати, пора пить кофе. Идемте. Все уже на столе.

В беседке за кофе хозяйка была с Йозефом очень и очень приветлива, поэтому он просто не мог не сказать, что совершенно напрасно надерзил ей и весьма об этом сожалеет.

— О чём вы? Я не понимаю.

— О Вирзихе!

Она сказала, что давно забыла об этом. На такие вещи у неё, слава богу, короткая память. Да и что особенного произошло? Так, сущие пустяки. Но ей отрадно слышать, что Йозеф

сожалеет о своей резкости. Пусть он не беспокоится, главное — старательно выполнять все, что касается мужниных дел. Ах, иной раз, особенно в последнее время, ей очень бы хотелось быть деловым человеком и помогать Тоблеру. При мысли, что надо будет уехать, оставить этот дом, который она так... так полюби-и-ла-а-а...

Глаза ее наполнились слезами.

— Я непременно постараюсь! — чуть ли не выкрикнул Йозеф.

— Вот и хорошо, — сказала она, пытаясь улыбнуться.

— Вы не должны так отчаяваться!

Да нет же, она пока далека от этого. Все эти тревожные симптомы не лишают ее присутствия духа. Вчера Тоблер осипал ее горькими и, как ей кажется, несправедливыми упреками за то, что она-де слишком легкомысленно воспринимает его тяжелое положение; она сочла за благо промолчать. Ну что может сделать в подобном случае слабая, неопытная женщина? День-деньской причитать и ходить по дому со скорбной миной? Какой от этого прок? Хоть сколько-нибудь разумной женщине такое в голову не придет, да и не к лицу оно ей, и вообще, это скорее опасно, нежели прилично. Напротив, она всегда в добром расположении духа и смеет в душе хвалить себя за это. Да-да, именно хвалить, пусть даже никто на всем белом свете не желает этого признавать... Впрочем, она понимает, кто она такая, и уже по одной этой причине почтает своим долгом не терять так скоро веселой и ровной жизненной бодрости. Тем не менее она вполне сознает, как тяжко сейчас ее мужу.

Г-жа Тоблер опять оживилась.

— Что же касается вас, Йозеф, — продолжала она, устремив на помощника свои большие глаза, — я ведь знаю, вы свои задания выполняете серьезно. Да и нельзя от единственного человека требовать разом всех решений и превосходных результатов. Только вот резковаты вы порой бываете. Что верно, то верно.

— Вы меня унижаете, но я заслужил это, — сказал Йозеф.

Оба засмеялись.

— Забавный вы человек, — обронила г-жа Тоблер и поднялась.

Йозеф бросился за ней, спросить, не будет ли она так любезна отобрать платье, подаренное ему г-ном Тоблером, и переправить его в башенную комнату, он прямо нынче хочет все примерить. Она кивнула: да, она сейчас же достанет все из шкафа.

Примерно час спустя он поливал сад, с удовольствием глядя, как тонкая серебристая струя воды прорезает воздух и с плеском бьет по листьям деревьев. Землекопы вскоре

побросали свои лопаты и мотыги: на сегодня хватит. «Забавный человек, — думал Йозеф, орудуя шлангом, и на душе у него чуть ли не кошки скребли. — Почему забавный?»

В этот вечер пришли гости — доктор Шпеккер с супругой; приехал и Тоблер, сердитый, раздраженный. Только он хотел уютно расположиться в «Паруснике», как его позвали к телефону и сообщили, кто пожаловал на виллу. «Принесла их нелегкая!» — сказал он по телефону жене, но делать нечего — отказался от трактирной партии в ясс и пошел играть в карты домой, что на его вкус было занятием «для малолеток». И правда, у профессионалов игра шла куда серьезнее и по-мужски, а главное, куда молчаливее, и Тоблер мало-помалу стал относиться к домашним болтливым и невинным партиям в ясс с изрядным презрением.

Йозеф отказался от игры, сославшись на то, что у него де болит голова и он хочет немного пройтись по свежему воздуху. «Ага, этот вон улизнул от повинности, а я должен торчать тут» — было написано на лице у Тоблера, когда он слушал Йозефовы извинения.

Йозеф сбежал «на природу». Огромная луна заливала блеклым светом всю округу. Где-то плескалась вода. Йозеф зашагал вверх по горному склону, минуя знакомые лужайки. Большие дорожные столбы казались белыми в лунных лучах. В лесной чаще слышался шелест, шуршанье, шепот. Все тонуло в благоуханной, мечтательной дымке. Из ближнего леса донесся крик совушки. Россынь редких домов, вкрадчивые шорохи, а то огонек, подвижный — фонарик в руке запоздалого путника, или неподвижный — свеча за притворенной створкой окна. Как тихо во тьме, какой незримый простор вокруг, какие дали! Йозеф с восторгом упивался своими ощущениями.

Неожиданно ему вновь вспомнилось, что его называли «забавным человеком». Что же в нем такого забавного? Одинокие прогулки в ночи — странноватое занятие, конечно, такое времяпрепровождение вполне можно назвать и забавным. Ну а дальше что? Разве этим все исчерпывается? Нет, главное — его жизнь, вся его жизнь, былая и ожидаемая в будущем, вот что забавно, и г-жа Тоблер была совершенно права, когда сказала... Ох уж эти женщины, как они умеют читать в сердцах и характерах! У них прямо дар — выстрелят в твою изумленную душу одним-единственным словом, а попадут в самую точку! Забавный малый. Смешно, правда?

Сокрушаясь об очень-очень многом, он зашагал домой.

Бэренсвильцы, или бэренсвайльцы, — народ по натуре добродушный, но притом несколько злоказненный или, точнее говоря, себе на уме. У всех у них рыльце более или менее в пушку, каждый — один больше, другой меньше — хранит какую-нибудь тайну либо секретничает, а поэтому на мир они смотрят с хитрецой и лукавством. Они честны, благонравны, не лишены гордости и от веку привыкли к здравой гражданской и политической свободе. Но честность они охотно окружают неким ореолом плутовства и светскости и не прочь прикинуться большими умниками и вообще министерскими головами. Все они чуточку стыдятся своей ядреной, природной прямоты, и каждый предпочтет прослыть скорее «продувной бестией», нежели глупцом-простофилей,

которого легко обвести вокруг пальца. Бэренсвильцев вокруг пальца так просто не обведешь — пусть всякий, кому вздумается это проверять, как следует поостережется. Они добросердечны, если их уважают, и понятие о чести у них изрядное, ибо они от веку и так далее. Но они и доброты своей стыдятся, так же как любого другого проявления чувств. Они и бровью не поведут, когда иные люди и народы смеются, и в беседе больше навостряют уши, чем распускают язык. Они любят помолчать, но порой принимаются бахвалиться, как заправские матросы, точно все до одного родились на свет с кабацкими глотками. А после опять замолкают на целый месяц. Вообще-то они отлично себя знают, сmekают, где у них плюсы, где минусы, и склонны скорее публично демонстрировать свои недостатки, нежели положительные качества, чтобы никто не догадался, как они прилежны. Тем лучше идет в таком случае их коммерция. В округе говорят, что они-де грубы как сам черт, и говорят так не без причин, однако же грубых кощунников среди них обычно раздва и обчелся, но по милости этих исключений бэренсвильцы принуждены выслушивать иное дерзкое и несправедливое словцо. У них богатое воображение, и они стремятся развить его еще больше, оттого люди безвкусные из их числа хвастиают зачастую не в меру и пользуются дурной славой по всей стране. Но прежде всего, г-н Тоблер, они сухи и трезвы — люди такого сорта прямо рождены заключать скромные, но надежные сделки и соответственно преуспевать. Дома, в которых они живут, чистенькие, под стать хозяевам; дороги, которые они строят, слегка расхлябаны, как и сами строители, а электричество, освещдающее по вечерам деревню, практично и опять-таки аккуратно, как и они. Вот в какое окружение занесло г-на Тоблера. Г-на инженера Тоблера!

Время незримо шагало вперед. В окрестностях Бэренсвия времена года тоже на месте не стояли, а делали то, что им назначено природою, здесь, как и в других краях: они сменяли друг друга в пику г-ну Тоблеру, который, возможно, и хотел бы, чтоб время остановилось. Человек вроде него, чьи дела никак не двигались, подсознательно был врагом всего, что спокойно и размеренно шло вперед. День или неделя такому человеку либо коротки, либо длинны: коротки, потому что близится кризис, и длинны, потому что скучно видеть застой в делах. Когда время как будто бы текло быстро, Тоблер ворчал, что уже который день ничего толкового не придумывается, а когда оно словно бы вышагивало медленно и лениво, он мечтал поскорей перенестись в какое-нибудь грядущее десятилетие, чтобы не смотреть больше на свое надоевшее окружение.

Осень была не за горами, все затихало, успокаивалось; природа время от времени как бы протирала глаза. Ветры дули иначе, чем раньше, во всяком случае так часто казалось; тени скользили мимо окон, и солнце переменилось. Когда на дворе было тепло, кое-кто из коренных бэренсвильцев говоривал: ишь ты, какая до сих пор теплынь. Люди были благодарны за мягкие деньки, ведь еще накануне, стоя на крыльце, они сетовали: ах ты черт, погода-то помаленьку портится!

Небо нет-нет да и хмурило свое чистое прекрасное чело и даже собирало его в скорбные складки. И тогда холмы и озеро кутались в сырье серые покрывала. Дождь тяжело падал на деревья, что не мешало, однако, кое-кому ходить на почту, раз уж этот кое-кто случайно был помощником в доме у Тоблеров. Г-н Мартин Грюнен, видать, тоже не

слишком беспокоился о красотах мягкой смены времен года, иначе бы он едва ли написал, что все поименованные Тоблером причины отказа от возмещения ссуды совершенно его не трогают и он решительно настаивает на своем требовании.

А когда после все же наступала хорошая погода — каким счастьем это трогало душу! В природе оставалось преимущественно три цвета: белый, золотой и голубой — туман, солнце и небесная лазурь, три очень-очень изысканных, даже благородных цвета. Опять можно было трапезничать в саду либо, прислоняясь к ограде, размышлять о том, уж не привиделось ли тебе все это когда-то давно, в ранней юности. Тепло и цвет сливались воедино. Да, говорили люди, от красок и тепло. Вся округа как бы улыбалась, небо как бы само радовалось собственному обличью, как бы воплощало в себе и аромат, и сущность, и задушевный смысл этой улыбки земли и озера. Уму непостижимо — какой покой, какое сияние! Посмотришь на озерную гладь — и чувствуешь себя собою, и для этого вовсе незачем быть помощником, обласканным добрыми благодатными словами. Заглянешь в желтовато-золотой древесный мир — и в душе всколыхнется щемящая грусть.

Посмотришь на дом — и невольно рассмеешься, хоть тиранка Паулина и чистит в этот миг ковры у кухонного окна. Мир как бы полнился музыкой. Над кронами деревьев, точно далекие гаснущие звуки, проступали слепяще-легкие, белые контуры Альп. Глянешь туда — и тебя сразу охватывает ощущение нереальности. Все будто совершенно другое.

Другие виды, другие чувства! И окрестный ландшафт как бы тоже умел чувствовать, и ощущения его менялись. Ощущаемое всякий раз тонуло во всевластной голубизне. Все было подцвечено голубым, подсинено, подернуто голубоватой дымкой. А вдобавок эта свежесть, этот шелест, идущий от деревьев, где всегда живет легкое, прохладное движение. Можно ли тут работать, приносить пользу? Да, натягиваешь веревку и помогаешь прачке вынести из подвала на золотисто-голубой земной свет корзину мокрого белья. Подобное занятие вполне под стать чудесному, до последнего уголка пронизанному красками и звуками, словно до блеска отшлифованному дню. И было множество таких дней, когда стоило лишь встать с постели, выглянуть в окно и повторять, вновь и вновь: как чудесно!

Да, летняя страна обернулась страною осенней.

Но в продвижении тоблеровских дел не случилось ни нового поворота, ни перелома, ни даже отступления. Тревога и разочарования шагали вперед, как усталые, но привычные к дисциплине солдаты, не позволяя себе свернуть с дороги. Вместе с неудачами и безнадежностями они образовывали четко упорядоченную маршевую колонну, которая медленно, однако же неуклонно двигалась вперед, устремив взгляд в ближайшее будущее.

Тоблер теперь все чаще уезжал по делам, словно вид собственного прелестного дома был для него болезненным укором. Он купил себе трехмесячный абонемент на право проезда по всем железным дорогам страны, а раз купил, значит, нужно его в конце-то концов и использовать. Иначе где тут здравый смысл? Езда, судя по всему, вообще доставляла Тоблеру огромное удовольствие. Он был просто создан для этого. Ждать в «Паруснике» поезда, для первого раза, может, и пропустить оный, сесть на следующий, с солидной

деловой папкою под мышкой, и ехать куда бог приведет, вступать в разговоры с попутчиками, угощать того или иного из них сигарой, дорогой или такой, что подешевле, наконец выйти из вагона в чужих краях, встречаться с бойкими, жизнерадостными людьми, допоздна вести в дорогих ресторанах переговоры и так далее — вот это было по нем, отвечало ему и его натуре, отвлекало от недостойных мыслей, помогало хоть немного ощутить себя самим собою, это было как костюм, который сидел на нем точно влитой.

Что проку сидеть дома, коль скоро у него есть помощник, которого он обязан «кормить»? Еще чего недоставало! Этак убьешь в себе последние остатки предпримчивости. А тогда еще немного — и можно окончательно «закрывать лавочку». Только этого и не хватало — торчать дома и выставлять себя на обозрение насмешникам бэренсвильцам! Нет, тогда лучше уж пулью в лоб. Ей-богу, лучше. Вот почему Тоблер и разъезжал.

А меж тем тревога о насущных будничных потребностях начала легонько стучаться в окна дома, приподнимать занавески, чтобы не спеша разглядеть внутренность тоблеровского жилища, стоять у двери, напоминая всякому проходящему о чувстве неуверенности. Теперь тревога проявляла чуть больше любопытства, чем летом. Пока она только зондировала почву, в остальном же держалась тихо. Довольствовалась тем, что люди порой ощущали ее присутствие, была учтива и осторожна. Дверной порог, подоконник, уголок на крыше или под столом — эти места ее как будто вполне устраивали. Она никак не важничала, правда, ее холодное дыхание временами обвевало сердце г-жи Тоблер, так что, бывало, та средь бела дня резко оборачивалась, словно кто-то стоял у нее за спиной, и в глазах у нее был вопрос: «Кто это там прячется?»

Небольшие деньги, что поступали в техническое бюро, хозяйка, по совету мужа, сразу же забирала в свои руки. Ведь хлеб, молоко и мясо оплачивать надо было ежедневно. Жили и питались как всегда, на подобных вещах не экономили. Лучше вовсе не жить, чем жить плохо. Паулина регулярно получала свое жалованье, а вот у помощника предполагалось достаточно понимания и такта, чтобы без лишних слов «войти в положение» и примириться с ним. Йозеф был мужчина, Паулина — дитя народа. От мужчины можно по праву ожидать самоотверженности, от дитяти из низших слоев населения — никогда, и помощник это понимал.

Мальчики снова ходили в школу, что было большим облегчением для матери: теперь она частенько могла выйти на веранду и посидеть там, покачиваясь в качалке, на мягким осеннем солнышке. Порой ее навещали грэзы, навевали ей приятно-красочные образы: она-де аристократка, одна из свободнейших и лучших; и она хотя бы и на краткие четверть часа невольно покорялась этой дивной фантасмагории, которая наполняла душу глубокой тоскою.

Однажды она призвала помощника к себе на веранду, хотела кое о чем спросить его. Случилось это вскоре после обеда, Тоблер был в отъезде, девочки играли в гостиной.

— Какая опять дивная нынче погода, — заметил Йозеф, входя.

Хозяйка кивнула, но сказала, что размышляет совсем о другом.

— О чем же?

Да так. О разном. Во-первых, она уже который день упорно думает о том, не лучше ли продать дом и все прочее прямо сейчас и уехать по доброй воле, она ведь чувствует, что позор вынужденного отъезда подступает ближе и ближе. От начинаний ее мужа толку нет и не будет, она теперь в этом уверена.

— Как это — «теперь»?

Она жестом остановила помощника и попросила его честно, без утайки высказать свое мнение о часах-рекламе.

— Я твердо убежден, что с ними все налаживается. Нужно только еще немного потерпеть. Контакты с новыми и новыми капиталистами...

Ах, сказала она, лучше уж Йозефу помолчать. У него ведь на лице написано, что он притворяется и сам не верит в то, что говорит. Не слишком это красиво с его стороны. Почему он решил, будто ей не по силам смотреть в глаза суровой правде? Если он намерен лгать, выходит, нет в нем ни преданности, ни привязанности; в таком случае она считает, что удерживать подобного работника и впрямь бессмысленно. Ей надобно услышать, как и что он думает, и теперь она приказывает ему открыто высказать свое мнение. Прежде всего она хочет узнать, способен ли мужчин коммерческий помощник вообще мыслить самостоятельно. Пусть спокойно сидит и держит ответ, коли честь мужчины для него не вполне пустой звук.

Йозеф молчал.

Что же это такое? Она, кажется, пока еще вправе отдать ему приказ. А он? Дар речи потерял? С него станется. Надо же, просто неимоверная гордыня, а чести, видать, кот наплакал. Тоблеров костюм очень ему к лицу. Да-да. И пропади он пропадом куда угодно, только бы не видеть его больше.

Йозефа уже и след простили. Он обошел вокруг дома, поговорил с овчаркой Лео, вернулся в контору и сел к столу. О курении он сперва забыл, но немного погодя вспомнил о прелестях сего времяпрепровождения и раскурил одну из этих дымных штуковин, которых здесь был неистощимый запас. Это странным образом успокоило его, и он смог работать.

Скоро в дверях появилась г-жа Тоблер и спокойно произнесла:

— Ваше поведение, Марти, раздосадовало меня, но вы правы. Забудьте это маленькое происшествие. И приходите пить кофе.

Она тихонько затворила дверь и ушла. Помощника била дрожь. Он был не в состоянии удержать в руке перо. Сама жизнь мельтешила у него перед глазами. Окна, столы и стулья словно ожили. Он надел шляпу и отправился купаться. «Успею до кофе», — думал он. И перед этой женщиной он намеревался выступить в защиту Сильви! Какая нелепость!

Даже счастье и здоровье не купаются в волнах жизни с большим удовольствием, чем он теперь купался в озере. Пар валил от гладкой, но уже студеной поверхности воды, с виду похожей на нефть, спокойной и плотной. Свежесть стихии заставила обнаженное тело двигаться энергичнее и живее. От купальни донесся громкий оклик сторожа:

— Эй, вы там! Не заплывайте так далеко! Эй! Вы что, не слышите?

Йозеф, однако, безмятежно плыл дальше, ничуть не боясь внезапной судороги. Широкие взмахи рук делили и резали прекрасную влажную ткань. Из глубин озера его обдавало ледяным холодом ключей — тем лучше! Он лег на спину, глядя в синее-синее небо. На обратном пути взгляд его скользил по хмельной от осенних красок суще, по кромке берега, по домам. Все пребывало как бы в восторженном дурмане красок и ароматов. Йозеф вышел из воды и оделся. У выхода перепуганный сторож начал выговаривать ему, что надо было слушаться первого же предупреждения и немедля возвращаться; ведь, случись беда, спросят с него, со сторожа. Йозеф расхохотался.

Г-жа Тоблер разыграла притворный ужас, когда он сказал, что не устоял перед соблазном и искупался, последний разок в этом году.

Они сидели в беседке. После купания темный напиток был Йозефу как никогда по вкусу.

— Что ж, действительно грех упустить оставшиеся теплые деньги, — сказала г-жа Тоблер и завела разговор о своем замужестве, о прежней квартире.

Собственный особняк, куда можно приходить и уходить когда угодно, все-таки штука прекрасная и спокойная. Вновь такое не скоро обретешь...

Йозеф перебил ее учтивым замечанием:

— Госпожа Тоблер, вы опять разволнуетесь. Отчего вы все время об этом думаете? Хочу обратить ваше внимание на то, что я — ваш покорный слуга. Так зачем же нам ссориться? Вот я встаю и прошу позволения сесть снова.

Он встал. Она сказала, чтобы он сел. Он так и сделал.

Оба помолчали, потом ей вдруг вздумалось покачаться на качелях, и она попросила помощника подтолкнуть ее и потянуть за канаты. То взлетая высоко вверх, то падая вниз, она кричала, что ей очень нравится и что «пока есть возможность, надо пользоваться садом». Ведь скоро наступит зима и властно скомандует: всем по домам!

Немного погодя Йозеф остановил качели, потому что у хозяйки закружилась голова. На миг ему пришлось обнять г-жу Тоблер за талию, и он невольно вдохнул аромат ее тела. Ее волосы коснулись его щеки. О эти полные длинные руки! Он приказывал себе уйти. Мысль поцеловать ее шею молнией пронзила его, но он сдержался. А минутой позже с содроганием думал об этой простой возможности и был до смерти рад, что не воспользовался ею.

И вновь они сидели друг против друга. Г-жа Тоблер непринужденно щебетала.

В том доме, где они с мужем жили раньше, один молодой человек ухаживал за нею, влюбился по уши, дурачок! — только вспомнишь, уже смех разбирает, а начнешь рассказывать — тем более. Как-то ночью этот молодой человек — кстати, из приличного общества — проник в ее спальню, а она уже была в постели, так вот, он упал на колени возле кровати и признался в своей пламенной страсти. Напрасно она с возмущением пыталась его образумить, приказывала ему сию же минуту удалиться. Он встал, но не затем, чтобы уйти, а чтобы обнять ее. И теперь еще, когда в памяти оживает та ужасная минута, она чувствует, как он сжимает ее в объятиях. Она, конечно, позвала на помощь, а в этот миг — тут начинается смешная часть истории — ее муж, оказывается, поднимался по лестнице. Услышав крики, он ворвался в комнату и поистине сурово расправился с молодым человеком. Обломал о его голову и спину трость, а трость была ух какая толстая; и ей — причине побоев — пришлось умолять Тоблера пощадить соперника, который вовсе таковым и не был. Тогда ее муж спустил молодого человека с лестницы.

— Значит, мне надо остерегаться, — сказал Йозеф.

— Вам? — Свет никогда не видывал более недоуменного лица, чем то, какое г-жа Тоблер с этими словами обратила к помощнику.

Она принялась заниматься с Дорой. Потом вдруг опять обернулась к Йозефу: не окажет ли он ей услугу? На почте лежит довольно большая посылка с новым платьем. Ей так хочется примерить его уже сегодня. Быть может, помощник не сочтет за труд сходить за этой посылкой? Хотя, вероятно, это обременительно и у Йозефа есть дела поважней.

Нет-нет, он сейчас же выполнит просьбу, сказал Йозеф в совершеннейшем восторге, что нашелся повод еще разок сходить на почту.

Он немедля пустился в дорогу, и уже через полчаса картонка стояла в гостиной тоблеровской виллы. Хозяйка, забыв обо всем, вскрыла долгожданную посылку. А потом в сопровождении Паулины ушла в спальню примерить новый наряд. Хорошо, что хозяина не было дома! Так бы он насмешничал и бранил ее по-женски радостное волнение.

Через несколько минут она вернулась в гостиную, облаченная в сшитый по последней моде костюм, который был ей удивительно к лицу, и пожелала услышать мнение Йозефа. Сильви, маленькая курьерша, сбежала за помощником в контору. Йозеф пришел и обомлел — г-жа Тоблер была чудо как хороша.

— Ну прямо баронесса, — улыбнулся он.

— Нет, серьезно, как я выгляжу?

— Изумительно, — объявил Йозеф и рискнул добавить: — Костюм выгодно подчеркивает вашу фигуру. Вы теперь, собственно говоря, уже вовсе не госпожа Тоблер, а русалка, вышедшая из озера. На взгляд бэренсвильца, ваш туалет просто чересчур шикарен, но в конечном итоге этим людям тоже не вредно поглядеть, на что способны столичные портнихи. Материя и фасон у этого костюма таковы, что волей-неволей думаешь, будто сама материя дала идею покроя, и наоборот, покрой будто выбрал себе эту прекрасную материю.

Слова Йозефа привели г-жу Тоблер в полнейший восторг. Ведь в вопросах вкуса она чувствовала себя не слишком уверенно. С улыбкой она сказала, что не посмеет пройтись по Бэренсвилю в этом наряде, а потому будет надевать его, когда случится поехать в город.

Неоплаченные векселя и счета. Банк все больше настораживался. В тоне, каким кассиры Бэренсвильского банка разговаривали с Йозефом, когда он заходил туда, звучало уже не только удивление, но и снисходительное сочувствие: дескать, плохи дела у вас на холме. Почта ежедневно приносила на виллу «Под вечерней звездой» напоминания о том, что пора наконец и заплатить по счетам. Все было не оплачено, даже сигары, которые беспрестанно курили хозяин и помощник.

Садовый грот был почти готов, оставалось доделать некоторые мелочи, но это Тоблер отложил на потом, когда положение мало-мальски выпрявится. Строительные подрядчики представили счет; составил он около полутора тысяч франков, а такой суммы Тоблеры уже давненько не видали. Где взять деньги? Вырыть из-под земли? Натравить ночью пса Лео на какого-нибудь праздно гуляющего рантье, сбить его с ног и ограбить? К сожалению, теперь, в XX веке, времена разбойников давно миновали.

Появился повод опять устроить хотя бы маленький праздник. Разослали приглашения семерым почтенным гражданам деревни; трое дали согласие прийти на вечеринку по случаю завершения постройки грота, остальным четырем, как принято говорить, помешали обстоятельства. Правда, большой беды в этом не было. Чем меньше гостей, тем больше выпивки достанется каждому. В погребе еще сохранилось несколько бутылок отличного нойенбургского. Его-то и предполагалось распить. Более достойный случай, пожалуй, представится теперь не скоро.

Ненастным вечером в условленное время прибыли гости — бакалейщик, владелец «Парусника» и страховой агент. И все тотчас же направились в волшебный грот, похожее на пещеру, обмазанное цементом и затянутое шпалерами помещение, длинное, вроде печной топки, довольно низкое, так что гости набили себе не одну шишку на голове. Йозеф с Паулиной заранее отнесли в грот стол и несколько стульев. Освещала все это одна-единственная лампа.

Скоро подали вино — благородный, огненный напиток наполнил бокалы, а затем смочив пробующие, смакующие, причмокивающие губы, исчез в глотках.

— Пока в доме есть этакое винцо... — Тоблер осекся на полуслове: жена метнула на него предостерегающий взгляд, призывая к осторожности и благоразумию, и он внял этому призыву. Да, он ведь едва не ляпнул глупость перед тремя продувными тихонями бэренсвильцами. Простая душа!

Беседа становилась все веселее и непринужденнее. Грубоватые шутки, которые в обществе трех дам (паркетные фабрикантши тоже присутствовали при сем) были, собственно говоря, не к месту, перелетали из уст в уста, встречаемые громким одобрительным хохотом. Один лишь Йозеф смеялся мало. Тоблер даже спросил, уж не хандрит ли он, и посоветовал выпить, тогда, мол, он обязательно развеселится. Вино-де смывает заботы, и надо без долгих церемоний осушить бокал. Где Паулина? Пусть тоже отведает нойенбургского. Г-жа Тоблер сказала, что это излишне, но инженер стоял на своем.

Пришел черед историй с большим намеком. Трое бэренсвильцев оказались мастерами по этой части — слушатели смеялись до упаду. Если б Тоблер за каждый взрыв хохота в этот вечер получил по сотне франков, он бы мигом разбогател, как настоящий князь, такого состояния с лихвой хватило бы, чтоб стократ покрыть все его долги. Но смех штука неприбыльная, он эхом отдавался в стенах маленького грота, веселил, но не обогащал.

— За удачу твоих начинаний, Тоблер! — провозгласил хозяин «Парусника», поднимая полный бокал. Растроганный и вместе с тем уязвленный, г-н Тоблер в ответ разразился такой речью:

— Я тоже на это надеюсь!.. Когда здоровый, цветущий мужчина делает последнюю ставку на свои идеи, про этого человека всегда идет болтовня, порочащая и принижающая его дела. Но он выше подобных подозрений. Он предприниматель и как таковой обязан рискнуть не чем-то, а всем. Риск, милостивые государи, кажется дерзким, но зачастую он выглядит хвастливо и смехотворно, ибо его единственная и непременная задача — не бояться никакого суда. Что риску делать на чердаке, в лаборатории, и в тетради, на чертежном столе? Он там рождается, однако ж если он не выйдет оттуда, где родился, то останется пустой сладострастной игрой воображения. Его место — в миру, среди яркого света. Он должен себя показать, должен одержать верх над опасностью, что его сочтут смехотворным или бесполезным, или эта опасность его уничтожит. Что проку для мира от умных голов, коли они влачат свои дни в уединении; что проку от изобретений самих по себе? Изобретение — это труд, а не риск. Голая мысль мирозданье не поколеблет. Идеи должны претворяться в жизнь, мысли жаждут воплощения. А для этого нужен дерзкий и бесстрашный человек, здоровое и мощное плечо, твердая и верная рука, и ноги, которые, раз обретя под собою почву, так скоро эту почву не оставят. И сердце, способное выдержать все бури, — словом, мужественная душа. Никто не говорит, что этот человек чувствует себя счастливым, когда его начинания венчает хмельной и шумный успех; он не

стремится к личной власти, у него просто нет выбора: достигни успеха или погибай. Не он сам, его идея жаждет чего-то достигнуть, и жаждет она — достигнуть всего. Идея или гибнет, или побеждает. Больше мне сказать нечего.

В ответ на эту довольно романтическую речь спокойные хитрованы бэренсвильцы растянули сжатые губы в принужденной улыбке. Г-жа Тоблер до крайности перепугалась. Соседка-барышня как бы олицетворила собой всю навострившую уши округу — раскрыв рот, она целиком обратилась в слух. Старая дама не поняла ни слова. Йозеф разделял чувства своей хозяйки и вместе с нею обрадовался, когда Тоблер опять сел и залпом осушил бокал нойенбургского.

Речь опьянила его едва ли не больше, чем вино. Скоро, однако, все опять смеялись. На миг залетевшее в грот серьезное настроение вновь развеялось. Общество решило сыграть в ясс. Глаза Тоблера вновь блестели так же лихорадочно, как в ту летнюю ночь, когда в небо умчались десятки ракет. «Н-да, он, как никто, прямо создан для всякого рода празднеств», — подумал Йозеф.

Наутро в прудике плавало несколько пробок, а рядом качались на воде желтые, сорванные вчерашней непогодой листья. Моросил дождь. Вся усадьба выглядела печальной и заброшенной. Йозеф стоял в саду: боже, ну и вид! Но он не поддался настроению, которое грозило завладеть им, и приказал мыслям вернуться в буднично-практическое русло.

Дел в смысле положительном и выгодном становилось все меньше. Основная работа сводилась исключительно к тому, чтобы отражать атаки заимодавцев, которые напирали теперь со всех сторон, причем все более резко, и оттягивать сроки, когда надо было выкладывать наличные: деньги, деньги — их надо было изыскивать всеми возможными путями и способами, но таких способов и путей было ничтожно мало, да и эти немногие были чрезвычайно сомнительны и ненадежны. Один из этих еще открытых способов добывания денег заключался в пошлом, постыдном и негласном выпрашивании в долг у частных лиц. Скажем, встретив в какой-нибудь поездке родственника или знакомого, Тоблер либо сообщал ему неприкрытую мрачную правду, либо выдумывал некое временное затруднение и таким образом выманивал тут и там небольшие денежные суммы. Потом эти деньги уходили, как правило, на личные или хозяйствственные нужды.

В принципе Йозефу полагалось отрабатывать свои часы в конторе, но, по правде говоря, там почти не было уже практических дел, способствующих продвижению вперед, и, по сути, надо было просто отсиживать положенное время. Однажды утром помощник отправился на почту, а дверь конторы запереть забыл. По возвращении его ждала взбучка: Тоблер резко сказал, что отсутствие денег еще не причина для того, чтоб разводить полнейший хаос. Он этого не потерпит. Пусть в конторе не украсть наличных денег, но любой — хотя бы посыльный или еще кто — может незамеченным войти в незапертую дверь и перерыть все книги и документы.

Йозеф ответил, что это, наверное, Паулина оставила дверь нараспашку. С ним такого не бывает, он строго следит за порядком.

Как раз Паулина, взорвался Тоблер, и пожаловалась на то, что Йозеф с удивительным бесстыдством норовит теперь свалить на нее. Он вообще все всегда сваливает на Паулину.

С какой стати ей на него жаловаться, болтунье этой, начал было пойманный с поличным. Хозяин велел ему замолчать.

Дни стояли сырье и ненастные, а все-таки было в них свое очарование. В гостиной вдруг воцарился щемящий душу уют. Сырость и холод на улице сделали комнаты приветливее. Уже начали топить печи. На туманно-серой поволоке ландшафта лихорадочно-ярким огнем горели желтые и красные листья. Красный цвет листвы вишен рождал ощущение чего-то воспаленного, израненного и больного; но какая красота, вливающая в сердце смирение и отраду. Нередко луга и деревья кутались во влажные мантильи и шали; вверху и внизу, вблизи и вдали все стало серым и сочилось сыростью. Шагаешь будто сквозь унылое сновидение. И все-таки даже такая погода и такое обличье мира таили в себе радость. Идешь под деревьями и вдыхаешь их аромат, слышишь, как спелые плоды падают в траву и на дорогу. Все, казалось, стало вдвоем-втрое тише и спокойнее. Звуки и шорохи не то как бы уснули, не то боялись нарушить тишину. Ранними утрами и поздними вечерами над озером разносилось протяжное гудение туманных горнов, которыми суда осторегали друг друга: «Я иду-у-у!» — жалобные вопли беспомощных зверей. Да, туманов было предостаточно. Но порой выдавались и погожие дни. Были и другие дни, но-настоящему осенние, не хорошие и не плохие, не слишком приветливые и не слишком унылые, не солнечные и не мрачные, а такие, что равномерно светлы и пасмурны с утра до вечера, когда в четыре часа пополудни мир видится таким же, как в одиннадцать утра, когда все пребывает в покое, светится матовым, чуть потускневшим золотом, когда краски мягко уходят в себя, точно отдаваясь тревожным грезам. Как же Йозеф любил подобные дни! Все ему казалось тогда красивым, легким и привычным. Легкая печаль, разлитая в природе, наполняла его беспечностью, чуть ли не бездумьем. Много из того, что прежде выглядело скверным и груdnым, казалось тогда не сложно и не столь уж скверно. Приятная отрешенность заставляла его в эти дни бродить по деревенским улицам. Мир был на вид спокоен, невозмутим, добр и бездумен. Можно было пойти куда угодно, картина оставалась тою же, блеклой и насыщенной, все тем же лицом, который глядел на тебя серьезно и ласково.

К этому времени в газетах под негласным девизом «Деньги на бочку!» было напечатано новое объявление: «Приглашаются пайщики!» Мелкие деревенские дельцы жаждали уплаты по счетам, но получили отказ: дескать, уповайте на будущее. Поэтому по деревне пошли громкие разговоры: Тоблер не платит! Г-жа Тоблер уже едва осмеливалась появиться на улице, боялась, что ее начнут оскорблять. Столичная портниха письмом потребовала оплатить готовый заказ. Стоимость его составляла ровно сто франков, а такая сумма легко запечатлевается в женской памяти.

— Напишите ей, — сказала г-жа Тоблер помощнику.

На виллу как раз только что доставили бочонок молодого вина, так называемой «шипучки». Тоблеры и сейчас жили довольно широко, этого требовала природная бодрость, которая именно теперь понемногу стала к ним возвращаться. А деревенские пусть говорят и думают что угодно, в том числе и доктор Шпеккер с супругой, которые уже третью неделю носа к Тоблерам не кажут.

Йозеф написал портнихе — некоей мадам Берте Жирро, француженке, — чтобы она еще немного подождала. В настоящее время оплата не представляется возможной. Кстати, г-жа Тоблер довольна работой меньше, чем в прошлые разы: лиф несколько обужен и жмет под мышками. Но во всяком случае, г-же Жирро беспокоиться не стоит. Просто сейчас не очень удобно обращаться к г-ну Тоблеру по этому делу, он чересчур перегружен деловыми заботами и хлопотами. Нельзя ли сначала переделать костюм? От портнихи ждали ответа и просили ее принять уверения в том, что... И так далее.

Г-жа Тоблер подписала письмо, как предприниматель обычно подписьывает свою многочисленную корреспонденцию.

Сад был полон нанесенной ветром опавшей листвы; и однажды к вечеру сотрудник взялся за дело: вооружился граблями и принялся по мере сил сгребать и сносить листья в кучи.

День стоял холодный и хмурый. Большие бесформенные тучи угремо нависали над головой. Тоблеровский дом словно ежился от холода, тоскуя по веселому благородному лету. Окрестные деревья уже совсем обнажились, ветви их были черные и мокрые.

Подошел путевой обходчик. Он жил неподалеку, приветливый, скромный, отзывчивый человек, — вот и решил помочь Йозефу с листвами, сказав: мол, и в счастливые дни так полагалось, а уж в худые времена тем более. От г-на Тоблера он, кроме хорошего, ничего не видел. К примеру, тот угождал ему сигарой и чаевые изрядные давал; по его разумению, этак-то, как сейчас, не всегда будет, и вообще, лично он из тех бэренсвильцев, которые желают добра щедрому инженеру.

Вскоре сад был убран.

— Ну вот, и еще с одной работенкой покончено, — смеясь сказал обходчик. — Да-с, молодой человек, занятия бывают разные, но во всем, что делается с искренним тщанием, заключена частица почета. Коль вы теперь дадите мне парочку сигар господина Тоблера, я буду вам премного благодарен. В этакую непогоду сигару покурить — одно удовольствие.

Г-жа Тоблер велела нацедить старику литр «шипучки».

Тоблер предложил акционерному пивоваренному заводу в Бэренсвиле воспользоваться несколькими «полями», или крыльями, часов-рекламы. Фирма ответила отказом: может быть, позже. Это была новая досадная неудача, которая заставила инженера шваркнуть об пол пресс-папье в виде льва — лев разлетелся на куски, каковые были затем подобраны помощником. Одновременно по техническому бюро ударило новое орудие — новое

платежное требование. Ядро хоть и не задело никого, но вызвало раздражение, злость и увеличило беспокойство.

Канониром был не кто иной, как прежний агент и коммивояжер г-на Тоблера, некто Зуттер, который теперь заказными письмами домогался выплаты задержанного жалованья и комиссионных, связанных с продажей концессий на часы-рекламу. Тоблер с превеликим удовольствием ответил бы: «А пошел ты куда подальше со своими претензиями, болван этакий!» — но, благоразумно признав и это новое неприятное долговое требование, написал Зуттеру: «Уплатить не могу!»

Терпение! Г-н Тоблер вынужден был просить терпения от всех своих партнеров, поставщиков и близких, примерно так: потерпите! Я, Тоблер, имею самые честные и искренние намерения. По неосторожности я вложил все наличные капиталы в свои проекты. Не доводите меня до крайности! Я все уложу, я могу еще получить наследство, у меня пока есть права на долю наследства матери. Кроме того, я поместил новое объявление в поиске капиталов, в газетах, которые пользуются в обществе весом. Голова у меня немного идет кругом, но... И так далее.

По поводу ожидаемого наследства Тоблер вел переговоры со своим адвокатом, которому каждый день отсылали письма и открытки.

Тем временем был изготовлен первый образец патронного автомата; функционировал он в самом деле блестяще и будил радостные надежды. Возможно, этому автомату назначено спасти часы-рекламу и брошенное на них состояние, полагал изобретатель. Помощник механика пригласил Йозефа посмотреть готовый аппарат; Йозеф охотно принял приглашение, тем более что осенний день выдался погожим и мягким. В путь он отправился пешком и не торопясь шагал в соседнюю деревню, до которой был добрый час ходу. Справа стеной высился лес, слева поблескивала спокойная гладь озера, и Йозефу приятно было идти «по делам» в таком окружении. Добравшись до деревни, он спросил о механической мастерской, после долгих поисков обнаружил ее в лабиринте деревенских переулков и наконец очутился перед изящно выкрашенным автоматом.

Изготовитель его, пока Йозеф проверял, как гладко и бесшумно работает машина, ворчал, что-де ждет теперь от г-на Тоблера приличествующего вознаграждения, ведь, по его мнению, он вправе рассчитывать на таковое, поскольку — что г-н Тоблер, однако, признавать не желает — главная задача выполнена. От беготни, отдачи приказов и снований с места на место дела с мертвотой точки не сдвинутся. Для этого нужны руки, настоящие рабочие руки. Н-да, пусть Йозеф и сообщит своему патрону, как тут понимают ситуацию, Тоблеру не мешает знать.

В ответ на его брюзгливые рассуждения Йозеф слова не сказал и скоро отправился восвояси.

Дома ему уже издали крикнули, что внизу в конторе кто-то дожидается г-на Йозефа Марти.

Это был управляющий столичным посредническим бюро, человек, которому помощник был обязан нынешним своим местом, странно запущенный господин, в обращении, однако, по всему видно, смирный и мягкий. Они с Йозефом поздоровались дружелюбно, чуть ли не по-братьски, хотя между ними была большая разница в возрасте. Лицо управляющего, словно бы небрежно составленное из кусочков, напомнило Йозефу давнопрошедшие времена. Перед его внутренним взором возникла убогая канцелярия, он увидел себя за столом, потом вошел г-н Тоблер, управляющий поднялся ему навстречу, оглядывая помещение в поисках человека, который подошел бы этому клиенту. Как давно все это было!

Что же привело г-на управляющего в Бэренсвиль?

Тот, осматриваясь в кабинете, ответил, что приехал главным образом из праздного любопытства, хотелось увидеть, что это за место, где Йозефу все как будто бы по душе. У него в бюро нынче как раз выдался сонный день, заказов нет, вот он и сел на поезд и позволил себе маленько путешествие. Ну а кроме любопытства, есть и небольшое дельце; он любит сочетать приятное с полезным и необходимым и потому хотел бы узнать, отчего ему до сих пор, несмотря на многократные письменные напоминания, не отчислили ту сумму, которая составляет обычный комиссионный сбор. Они что, не получали его писем?

— Письма-то получены, только вот денег нет, господин управляющий, — ответил Йозеф.

— Что? Даже в таком ничтожном количестве?

— Да.

В глазах управляющего появилось задумчивое выражение, и он спросил, нельзя ли ему повидать г-на Тоблера.

— Для всех, кто требует с господина Тоблера деньги, его теперь дома нет. Обращаться надлежит ко мне, его помощнику. Не присядете ли, господин управляющий? Отдохнете минуток десять и с богом в обратный путь. При всем уважении к вам, я вынужден сказать, что мы тут не в восторге от людей, которые от нас чего-то требуют. Как госпожа, так и господин Тоблер недвусмысленно приказали мне без долгих церемоний и разговоров выпроваживать посетителей такого рода. Вы сами, господин управляющий, когда я три с половиной месяца назад прощался с вами в канцелярии перед отъездом в Бэренсвиль, советовали мне быть преданным, послушным и старательным, чтобы меня сочли полезным, а не прогнали уже через полдня за плохую работу. Как видите, я и сейчас здесь; стало быть, я хорошо себя зарекомендовал. Приноровился к здешним своеобразным обстоятельствам и, полагаю, вполне тут на месте.

— А жалованье вам хотя бы платят? — спросил управляющий.

— Нет, и это, кстати, мне тоже не по вкусу. Я уже не раз хотел поговорить об этом с господином Тоблером, но стоило мне собраться открыть рот и напомнить хозяину об

этом, как я догадываюсь, не очень приятном для него деле, и мужество покидало меня, и я говорил себе: отложим! Так и живу, без заработка, по сей день.

— И как же вам живется? Питание хорошее?

— Отличное.

Что ж, озабоченно вздохнул управляющий, после всего сказанного ему остается только вчинить г-ну Тоблеру судебный иск.

— Воля ваша, — сказал Йозеф.

Управляющий взял свою потертую шляпу, бросил отеческий взгляд на помощника, пожал ему руку и откланялся.

Йозеф вооружился листом бумаги и от нечего делать написал следующее.

«Дурная привычка

Дурная привычка — это потребность тотчас же задумываться обо всем, что встречается мне живого. Малейшая встреча возбуждает во мне странное желание поразмышлять. Вот только что от меня ушел человек, который мне симпатичен и важен в силу того, что с этим бедным стариком связаны определенные воспоминания. Глянув ему в лицо, я почувствовал себя так, словно забыл что-то, потерял или где-то оставил. Потеря тотчас запечатлелась в моем сердце, а давний образ — в глазах. Я человек, быть может, и несколько сумасбродный, но педантичный. Я ощущаю самые крохотные утраты; в некоторых вещах я чрезвычайно добросовестен, и лишь изредка, пожалуй, волей-неволей вынужден себе приказывать: забудь об этом! Одно-единственное слово способно повергнуть меня в невероятнейшее и тревожнейшее смущение; я тогда только и думаю об этом вроде бы мелком и ничтожном, снова и снова, а настояще в его житъе-бытъе становится для меня необъяснимым. Такие моменты — дурная привычка. И то, что я сейчас записываю эти мысли, тоже дурная привычка. Пойду к г-же Тоблер. Может, найдется какая-нибудь работа по хозяйству».

Йозеф бросил исписанный листок в корзину и вышел из конторы. Его и вправду дождалась работа по хозяйству: перенести зимние рамы с чердака в подвал, где их будут мыть и чистить. Он сразу же снял пиджак и снес рамы вниз. Г-жа Тоблер удивилась его пламенному трудовому рвению, а прачка, которая занималась мытьем, заметила, что он, видать, из тех, кто умеет все понемногу. Она не преминула соединить похвалу с назидательностью и сказала своим грубым голосом, что нынче, когда мир становится все более ненадежным и изменчивым, даже необходимо, чтобы молодые люди умели все понемногу. Молодому человеку вреда не будет, если он сможет справляться даже с презренными и мелкими делишками.

Вымытые рамы надо было отнести в комнаты и аккуратно вставить в оконные проемы. Г-жа Тоблер, призывая Йозефа к осторожности, стояла рядом и пугливо следила за его

движениями, которые порой казались ей слишком порывистыми. «Как ей к лицу испуг!» — подумал помощник и преисполнился самодовольства.

Пожалуй, это тоже была скверная привычка — быть довольным, даже счастливым, едва представлялась возможность поработать физически. Неужели он и впрямь так не любил напрягать свой ум, эту лучшую половину своего существа? Или он был рожден стать дровосеком или извозчиком? Может, ему следовало жить в девственном лесу или служить матросом? Жаль, что вблизи Бэренсвиля не строят бревенчатых блокгаузов.

Нет, он все-таки не бездарен, впрочем, то же самое можно сказать о любом от природы здоровом человеке. Но почему-то его тянуло к физическим занятиям. В школе, помнится, он был отличным гимнастом. Любил пешие походы по стране, любил подниматься в горы, любил мыть кухонную посуду. Последнее он делал ребенком дома и при этом рассказывал своей матушке разные истории. Движения рук и ног наполняли его восторгом. Купание в холодной воде нравилось ему больше, чем раздумья о высоких материалах. Он любил попотеть за работой, иной раз это позволяло глубже вникнуть в дело. Он что, прирожденный подносчик кирпичей? Может, его в тачку запрягать надо? Кстати сказать, Геркулес из него аховый.

Что ж, при желании ума у него хватало; но он не прочь был отдохнуть от размышлений. Как-то раз в Бэренсвиле он увидел человека, который таскал мешки, и сразу подумал, что этим-то и займется, если Тоблер его выгонит. Это было в разгар лета. А теперь глубокая осень, вставляют зимние рамы.

Покончив с этой работой, все выпили молодого вина. Ведь уже стемнело, и пора было ужинать. Застольная беседа текла очень оживленно; никто не расходился, хотя ужин был давно съеден. Когда пришел муж прачки, простой фабричный рабочий, г-жа Тоблер пригласила и его отведать «шипучки», он тоже сел к столу и вскоре затянул бодрую песню. Ему наливали еще и еще, да и другие не отставали.

— Дети! Сейчас же спать! — воскликнула через час г-жа Тоблер.

Паулина взяла Дору на руки и обошла всех, чтобы девочка с каждым попрощалась. Прачка доказала, что язычок у нее колючий и бойкий, — она без умолку рассказывала деревенские истории, про любовь или про какие-нибудь жуткие случаи. Муж ее снова запел. Прачка хотела остановить его, потому что песня была слишком уж смелая, но г-жа Тоблер сказала, пусть, мол, поет, что хочет, дети ушли, а остальным от дерзкого словца большого вреда не будет, она сама и то не прочь изредка такое послушать. Вино развязало кривому чернявому подмастерью язык, и с губ его сыпались несуразные вирши. Все хотели до слез, особенно г-жа Тоблер, которая, видимо, хотела «воспользоваться случаем», так как в последние недели, к своему огорчению, почти совсем лишена была человеческого общества. Пусть даже сегодня компанию ей составляли люди не утонченные, но по крайней мере веселые. Бедные, но искренние в своих чувствах. Кроме того, она — бог весть почему — испытывала потребность вволю повеселиться и с удовольствием снова и снова наполняла бокалы, до самой полуночи. Йозеф сильно

захмелел. У него заплетался язык, и он едва не свалился под стол. Другие держались лучше. Г-жа Тоблер вообще больше увлекалась беседой и весельем, чем вином. А вот рабочий, судя по всему, мог выпить невероятно много.

Йозеф, оступаясь, карабкался по лестнице, в свою комнату, когда явился Тоблер и сердито осведомился, отчего на веранде опять не зажгли огня. В саду ни зги не видно — впору ноги-руки переломать. Тоблер видел, что происходило в гостиной. Прачка с мужем поднялись, а немного погодя робко пожелали доброй ночи и ушли.

— Что это здесь творится? — спросил Тоблер у жены. А та, смеясь, показала пальчиком на помощника, который одолевал «сложности» подъема по лестнице. Хозяин устал и поэтому был немногословен. «Покутили» — что ж, не совсем прилично, но преступления тут нет.

Наутро Йозеф встал пораньше и работал вдвойне прилежно; его мучили угрызения совести и пугала встреча с патроном. Но ему ни уши не оборвали, ни голову с плеч не сняли. Тоблер был дружелюбнее и доверительнее, чем когда-либо, и даже шутил.

Среди дня помощник признался г-же Тоблер, что очень боялся. Она удивленно, непонимающе взорвилась на него и сказала:

— До чего же в вас странно соединяются трусость и отвага, Йозеф. Стоять на узких подоконниках и поздней осенью купаться в озере — это вам ничуть не страшно. И женщину вы способны обидеть ничтоже сумняшеся. А вот когда нужно держать перед хозяином ответ за совершенно невинную оплошность, вы дрожите от страха. Тут прямо не хочешь да решишь, что вы то ли очень любите своего хозяина, то ли в душе ненавидите его. Что тут прикажете думать? Что должна означать столь явная почтительность? Именно теперь, когда Тоблер попал в беду, просто диву даешься, что вы так трепетно почитаете этого человека. Не пойму я вас никак. Вы великодушны? Или низки? Ступайте работать! Я не хочу говорить резкостей и все-таки говорю их вам. А мужа моего впредь не бойтесь: он еще никого не съел.

Разговор этот произошел в гостиной. А чуть позже Йозеф застал хозяйку наверху, возле двери ее спальни, она была в неглиже и случайно оставила дверь открытой. Ни о чем не подозревая, она с обнаженными плечами стояла около умывальника и укладывала волосы. Услыхав шаги Йозефа и увидев его, она вскрикнула и захлопнула дверь. «Какие роскошные плечи!» — подумал помощник, шагая по лестнице на чердак. Ему нужно было что-то разыскать там среди хлама. Но вместо искомой вещи он нашел старые Тоблеровы сапоги, которые, похоже, давно валялись без употребления. Он долго разглядывал сапоги, пока не рассмеялся над собственной отрешенностью.

В этот миг на чердаке появилась Сильви; ей велели отнести туда кое-что из белья. Она остановилась перед Йозефом и глядела на него так, будто видела впервые. Что за девчонка! Потом она положила свою ношу, но вниз не пошла, а принялась довольно-таки бессмысленно рыться в открытом ларе и задавать стоящему рядом Йозефу бестолковые

вопросы. Молодому человеку быстро надоело смотреть на Сильви, и он поспешил убраться с чердака.

«Госпожа Тоблер, — размышлял он в кабинете, — удивляется моему поведению. А я вот, пожалуй, удивляюсь ее поступкам. Как она смеет говорить мне такие вещи, эта слабая, беспомощная женщина, мать Сильви? Сейчас же пойду к ней и выскажу прямо в лицо, какая она жестокосердая мать. Я, правда, всего-навсего служу в этом доме. А дом шатается, так пусть шатается и мое положение».

У двери в гостиную г-жа Тоблер очень взволнованно говорила по телефону. Очевидно, опять какая-то неприятность. Спина хозяйки вздрогивала, плечи то резко поднимались, то опускались. Говорила она сурово и властно. С кем это она? С наглым кредитором? Голос ее звучал как натянутая струна, того и гляди, сорвется, лопнут связки. Наконец она повесила трубку и повернула к Йозефу горделивое и вместе с тем горестное лицо. Во время разговора она плакала.

— Кто это был? — спросил Йозеф.

— О, подрядчик, тот, что строил грот. Денег требует. Но я, как вы, наверное, слышали, поставила его на место.

Она не сказала, на какое место. Но как бы там ни было, Йозефу опять недостало храбрости обозвать ее жестокосердой матерью.

Он мог бы с тем же успехом подойти к телефону. Разве он не слышал звонка? Нет? Что ж, в таком случае надо оставлять дверь кабинета приоткрытой, тогда уж он непременно услышит.

Йозеф прекрасно слыхал звонок, но поленился и только подумал: «Пускай сама подойдет. От гордячки не убудет».

Пришел Вальтер и донес, что его брат Эди показал язык одному из бэренсвильцев. Эди залез к нему в сад за грушами, но хозяин его поймал и влепил ему затрещину. Так вот Эди издалека кричал тому человеку всякие бранные слова.

Придется сказать об этом мужу, заметила г-жа Тоблер.

— На вашем месте, сударыня, — вставил Йозеф, — я бы сам наказал мальчика, если угодно сурово, но никогда бы не сказал об этом «мужу». Во-первых, у господина Тоблера сейчас, как вам отлично известно, предостаточно других забот, а во-вторых, вы же мать Эди, и не хуже, чем отец, способны определить меру строгости, с какой надлежит наказать сорванца. Если господин Тоблер вечером, как часто бывало, опять услышит из ваших уст подобные жалобы, он, глядишь, опять выйдет из себя и назначит не справедливую, а, очень может быть, жестокую кару. Подумайте, сударыня, в какую ярость вы приведете вашего мужа, если станете докучать ему такими, по сути, пустяками, когда он хочет немного отдохнуть в кругу семьи от дел и планов раздобыивания денег, и, как ни

склонны вы усматривать в моих словах обиду, вы согласитесь со мной. Простите меня! Я говорил в интересах вашего семейства. Я люблю этот дом и хочу приносить ему пользу. Вы не сердитесь на меня, госпожа Тоблер?

Она улыбалась и молчала, видимо считая излишним произнести хоть слово. Потом ушла на кухню, а он спустился в контору.

К ужину, что случалось редко, вернулся г-н Тоблер.

— Ну, как тут у вас дела? — спросил он тихим бесцветным голосом, знаменующим дурное настроение. От звуков этого голоса Йозефу тотчас стало не по себе. Голос — как он действовал на помощника! Кой черт дернул хозяина явиться к ужину? Убедиться, что ли, хочет, с каким аппетитом ест его помощник? Йозефу уже и есть-то расхотелось, он решил прямо после ужина еще раз сбегать в деревню, на почту. Тоблер устало снял пальто. Может быть, следовало вскочить со стула, мелькнуло в голове у Йозефа, и помочь хозяину раздеться? Вдруг бы от этого Тоблер изрядно повеселел, а то ведь настроение у него хуже некуда. И почему только Йозеф такой непредупредительный? Разве это ущемило бы его мужскую честь? Хороша честь — сидеть и пугливо надеяться, что скандала не произойдет! Появление Тоблера всегда вызывало у Йозефа страх скандала. Что говорить, в этом человеке чувствовалась какая-то неукротимость, внутри его словно поскрипывала и тихо дребежала сбитая в плотный багровый комок свирепость. Казалось, с минуты на минуту грянет взрыв. А в подобном случае и вправду неуместно думать об уязвленной чести, тут лучше сделать что-нибудь хорошее, нужное, предотвращая вспышку ярости. Снимешь пальто — и разом спасешь вечер в кругу семьи. Ведь Тоблер умел быть таким восхитительно-дружелюбным, когда бывал в настроении. Прямо-таки щедрым. Но Йозеф стыдился проявить учтивость, и еще одно: хозяйка открыла рот, словно ее кто за веревочку дернул, и, напрашиваясь на скандал, поведала историю прегрешений Эди.

Отец шагнул к сыну и влепил ему такую затрещину, от которой и взрослый-то рухнул бы как подкошенный, не то что маленький мальчионка вроде Эди. Все в комнате дрожали от страха. Г-жа Тоблер опустила глаза. Теперь она жалела о своих словах. Тоблер пинками и тычками загнал Эди в темный чулан. Юный доносчик Вальтер побелел как полотно. Дора вцепилась в руку матери. Та собралась с духом и сказала, что этого довольно. И пусть Тоблер успокоится. Инженер застонал.

— Непостижимая женщина, — пробормотал Йозеф себе под нос.

— Час от часу не легче, — сказал Тоблер, садясь за стол. Мало им, что вся деревня и так ополчилась против него. Ох и сорванцы! Скоро все кому не лень станут пальцами показывать на него, отца и воспитателя, и говорить, что ребята, мол, целиком в старика пошли. Не успеешь ногу на порог поставить, как тебе сразу преподносят какую-нибудь пиллюлю. Вот и наберись тут храбрости, надейся на поворот к лучшему! Не дети, а сущее наказание. И все потому, что считаешь своим долгом заботиться о них, как положено, одевать, кормить. Черт побери! Им бы, озорникам, впредь босиком в школу ходить да

сухим хлебом питаться вместо мяса. Ну, погодите, устроит вам отец музыку! Впрочем, и устраивать ничего не надо, все само к тому идет. Как станет нечего есть, так, помяните его слово: этот выводок мигом по-другому запоет.

— Довольно, это уже слишком, — остановила его г-жа Тоблер.

Угрозы Тоблера так и остались угрозами, все «Под вечерней звездой» шло в прежнем ритме и в прежней тональности. Голова у дирижера была занята иными заботами, а помощник его по натуре был слишком кроток и невзыскателен. Задержанное бог весть с каких пор жалованье и то можно было не выплачивать. Он довольствовался идиллией, тем, что есть. Облака и ветер еще обвевали тоблеровский дом, и пока у них не пропала охота заглядывать сюда, помощника тоже прочь не тянуло.

И вот однажды пошел снег. Первый снег — сколько воспоминаний ты пробуждаешь! Давнее, былое устремляется вместе с тобою к земле. Лица матери и отца, сестер и братьев явственно и многозначительно выступают из твоей влажной, белой пелены. На душе и серьезно, и радостно, когда вокруг вьются твои неисчислимые хлопья. Ты словно дитя, мальчик или милая, робкая девочка. Люди подставляют ладони, ловят тебя, не весь, конечно, а лишь малую твою частицу. Сосуд, который мог бы тебя вместить, должен быть широк и огромен, как земля. Милый первый снег, падай, падай наземь! Какое роскошное мягкое покрывало ты безмолвно набрасываешь на дом и сад. Г-жа Тоблер изумленно восклицает: «Снег идет!» Дети вбегают в теплую комнату с гомоном, со снежинками на румяных щечках и в волосах. Скоро Паулине придется расчищать дорожки, чтобы г-н Тоблер не набрал снегу в башмаки и не промочил ноги.

Мальчишек своих Тоблер в школу босиком тоже не послал. С этим было не к спеху. И еды в нарядном особняке, несмотря на снежную круговерть, несмотря на сырость и холод, покуда хватало. Отправляясь на почту, Йозеф надевал пальто; хоть и с чужого плеча, оно хорошо грело и шло к нему. Г-жа Тоблер просила помощника взять ей в деревне что-нибудь почитать; лучше чтения в долгие вечера вряд ли что придумаешь. Не играть же каждый раз после ужина в карты. Йозеф ходил в приходскую библиотеку и приносил оттуда книги. Девочки гуляли в теплых красных пальтишках, с санками, чтобы кататься с холма, но катание пока было неважное, свежий, сырой снег еще не пристал как следует к каменистой земле. Участвовал в ребячих играх и пес Лео.

У всякого времени года свой запах, свои звуки. Придет весна, и чудится, будто видишь ее впервые, такая она особенная. Летом из года в год вновь поражаешься дивной пышности природы. На осень вот раньше толком внимания не обращал, лишь в этом году заметил, а зимой все опять-таки выглядит совсем по-иному, не то что год или три назад. Да-да, годы тоже имеют свою музыку и свой аромат. Провести год там-то и там-то значит прожить его и увидеть. Места и годы тесно связаны между собой, а уж события и годы — тем паче. Переживания способны окрасить по-новому целое десятилетие — что ж говорить о быстротечном кратком году! Краткий год? Йозеф этим определением отнюдь не доволен. Вот только что он стоял перед вилкой и задумчиво произнес:

— Этакий год — до чего же он долг и насыщен.

И долгое действительно тянулось долго, только когда Йозеф думал о нем, казалось, будто у него были крылья, и перышки, и легкость пушинки. Сейчас середина ноября, но если вдуматься, то Йозеф еще в мае являл миру это выражение лица, и эти манеры, и эти мысли. Как говорит его приятельница Клара, он мало изменился.

А мир? Он-то меняется? Нет. Зимнее обличье может наложитьсь на летнее, зима может обернуться весною, но лик земли остается прежним. Он надевает и снимает маски, хмурит и разглаживает прекрасное высокое чело, смеется или сердится, но остается неизменным. Он любит подкраситься то ярко, то в нежные тона, то он пылает румянцем, то бледнеет, он всегда не вполне одинаков, все время чуточку меняется и, однако, всегда тот же — живой и волнующий. Глаза его мечут молнии, мощный голос рокочет громом, он плачет потоками дождя, а с улыбающихся уст его слетает чистый искрящийся снег, но черты этого лика едва-едва меняются. Лишь изредка по его спокойной поверхности пробежит дрожь землетрясения, простучит град, прокатится вал наводнения или огонь вулкана, иной же раз этот лик содрогается и трепещет, пронзенный изнутри космически-земными ощущениями, но не меняется. Ландшафты остаются все теми же, лица городов, правда, ширятся и округляются, но подняться ввысь и быстро подыскать себе новое место города не могут. Большие и малые реки тысячелетиями текут все тем же руслом, их может занести песком, но они не ринутся вдруг из своих берегов на вольный и легкий простор. Воде должно пробиваться по каналам и пещерам. Течь и прокладывать себе путь — таков издревле ее закон. А озера покоятся там, где были от веку. Они не рвутся к солнцу, не играют в мяч, как дети. Порой они сердятся и гневно бьются о берег, но ни во что не превращаются — ни днем в облака, ни ночью в диких коней. Все на земле и под землею покорно прекрасным суровым законам, как и люди.

Вокруг тоблеровского дома, стало быть, воцарилась зима.

В один из воскресных дней Йозефу вздумалось опять съездить в столицу развлечься. Улицы города были затянуты мглой, землю покрывала палая листва, скамейки в парках пустовали, сидеть на них было нельзя, да и не хотелось, в переулках старого города стоял шум, а вечером у дверей многочисленных пивнушек горланили пьяные. Полчаса Йозеф провел у своей прежней квартирной хозяйки г-жи Вайс, растолковывая, кто такие Тоблеры, но внутренний стыд и нетерпение не дали ему засидеться у спокойной, медлительной женщины, он опять вышел на воскресные вечерние улицы и заглянул в одно-два заведения сомнительного пошиба, чтобы «развлечься». Было ли это в его натуре? Так или иначе он выпил много пива и в зимнем саду завел у буфета скопу с молодыми фатоватыми итальянцами. Тогда-то он при всем честном народе и вылез на маленькую сцену и, к вящему восторгу публики, принялся поучать выступавшего жонглера, и до тех пор распинался о законах вкуса и физической ловкости, пока официанты сообща не выставили его за дверь.

В морозной ночи он сел на парковую скамью: пусть холодный порывистый ветер выдует хмель. Настоящая буря металась по парку, тряся ветвями деревьев. Однако второму человеку, тоже как будто бы расположившемуся здесь на ночной отдых, — он сидел на скамье против Йозефа — все это, видно, было сугубо безразлично. Кто бы это мог быть и что заставило его, подобно Йозефу, сидеть под открытым небом в бурную ненастную ночь? Разве так делают? Предчувствуя несчастье или горе, помощник подошел к темной фигуре и узнал — Вирзиха.

— Вы? Здесь? Ну и как ваши дела, Вирзих? — удивленно спросил он. Хмель как рукой сняло. Вирзих долго не отзывался, потом сказал:

— Как мои дела? Плохо. Стал бы я иначе торчать здесь на дожде и холоде. Я без места и без опоры. Одна дорога — воровать да садиться в тюрьму.

Он громко и жалобно расплакался.

Йозеф предложил своему предшественнику по тоблеровскому бюро золотой. Тот взял монету, но выпустил ее из рук.

— Слушайте, не будьте дураком! — прикрикнул помощник. — Возьмите деньги. Тоблер, между прочим, дал их мне скрепя сердце. У нас «Под вечерней звездой» теперь тоже не больно густо с деньгами, только мы духом не падаем. И вам, Вирзих, вовсе незачем говорить, что, мол, впору воровать идти. Прежде чем сказать такое, лучше язык себе прикусить. Зачем воровать-то, а? Разве для безработных нет посреднического бюро? Но вы, верно, стыдитесь пойти туда, к господину управляющему, он, кстати, очень-очень милый, отзывчивый, опытный господин. У нас «Под вечерней звездой» однажды набрались свободомыслия да и наняли в этом бюро молодого и хотя, быть может, не слишком ретивого, но вполне способного и мягкого человека по имени Йозеф Марти, ибо господин Вирзих пользу приносить отказался. Ступайте и работайте, спрашивайте с утра до ночи везде, куда ни придет, насчет работы и не сомневайтесь, где-нибудь кто-нибудь вам ее предоставит. Ну разве этак годится? Конечно, кое-где вас холодно и резко выставят за порог, но вы идите дальше, до тех пор пока не найдете место, которое послужит мостиком к достойной жизни и помаленьку вновь выведет вас в люди. О воровстве ни под каким видом даже думать нельзя. Здравый рассудок — вот чем надо руководиться, но не стоит досаждать ему, превращать его в мошенника и болвана. А сейчас я бы на вашем месте взял эти деньги, данные не мною, а Тоблером, и подыскал себе приличный ночлег: ведь надо выспаться перед тяжелым днем. Слушайте, а как там ваша матушка?

— Хворает, — еле слышно прошептал Вирзих, горестно махнув рукой.

— И конечно же из-за вас! — вскричал Йозеф. — Не перечьте, я прямо вижу, почему она расхворалась и как вы дошли до жизни такой. Какая мать не придет в отчаяние, когда ее сын сбивается с пути, да так, что едва смеет последнему нищему в глаза посмотреть? Сколько лет она гордилась сыном, глядела на него с любовью и восхищением, заботилась о нем — она еще дышит, но недуг подтачивает ее силы, а ведь, если бы предмет ее забот и

любви как следует соизволил честно потрудиться, она могла бы остаться на склоне дней жива-здрава. Много ли надо, чтоб порадовать старушку, чтоб в ней снова разгорелось былое пламя полуугасшей теперь гордости. На свое дитя она молиться будет, только бы оно постаралось остаться порядочным и сильным. Вдобавок забывчивый и непутевый человек — единственный ее сын, первая и последняя кровиночка материнского сердца, а у него хватает грубости и жестокости неуклюже топтать ножищами любовь и многолетнюю отраду. Знаете, Вирзих, у меня просто руки чешутся вздуть вас хорошенко.

Они вместе отправились искать ночлег. На постоялом дворе «Красный дом» еще горел свет; они вошли в зал. Множество мастеровых и проезжающих сидели за большим столом, один сыпал анекдотами, которые, видимо, рассказывал уже не первый раз, остальные слушали. Йозеф заказал ужин и выпивку. «Завтра, — думал он, — с первым же поездом вернусь в Бэренсвиль».

Свободной на постоялом дворе оказалась всего одна комната. Поэтому Вирзих и Марти заночевали вместе. Перед сном они еще полчасика поболтали. Вирзих мало-помалу воспринул духом. Йозеф сказал, чтобы он оставил за собой этот номер и с завтрашнего дня засел писать письма с предложением своих услуг, а потом, разложив их аккуратно по конвертам, сам же и отнес куда надо. Ни в коем случае нельзя стыдиться своей бедности и тяжелого положения, правда, выражение лица не должно быть слишком уж страдальческим, а не то мигом опротивеешь людям, в благоволении которых заинтересован. И вообще, скорбная мина — это безвкусица. Личные визиты к нанимателям имеют и еще один плюс: эти люди, в большинстве своем образованные и здравомыслящие, непременно сунут тебе в руки хотя бы пятифранковую монету, потому что своими глазами видят, что ты честно ищешь работы. Способ этот испробовали многие, в том числе и хорошие Йозефовы знакомые, и всегда добивались пусть скромного, но успеха. Имена и судьбы просителей богачам, как правило, сугубо безразличны, но эти господа раскошеляются, вот в чем штука — таков укоренившийся с давних пор в старинных достославных фирмах и семействах добропорядочный и благородный обычай. Истинно бедное создание должно без страха идти к созданию истинно благородному, там ему покуда грозит наименьшая опасность, там он может дышать, там может явиться таким, каков он есть, со всеми своими бедами. Раз уж мыкаешь нужду, научись достойно и свободно показывать, что ты пришел просить; это люди прощают и понимают, это немного смягчает сердца и никогда не ущемляет добрую, гибкую мораль. Однако необходимо преисполниться сдержанности, нельзя хныкать, как младенец, наоборот, всем своим поведением надо показать, что подкосило тебя нечто огромное и мощное — беда. Это опять-таки несколько возвышает тебя и склоняет самых жестокосердых к мимолетной, сладостной, благородной, солидной мягкости. Ну вот, целую речь закатил, да к тому же весьма пылкую; а теперь пора спать, потому что завтра надо встать пораньше.

— Вы, Марти, по-моему, добрый малый, — сказал Вирзих.

И оба заснули. Было уже половина четвертого утра.

В восемь, проспав только три часа и продремав всю дорогу в поезде, помощник вновь стоял в техническом бюро, между чертежным и письменным столом. — А после пошел в гостиную завтракать.

Через неделю Йозефу пришлось опять ехать в город, причем в качестве арестанта. Двухдневный арест полагался ему за то, что он не явился на осенние армейские сборы. В назначенный час он прибыл в казарму; у него забрали воинские документы и отвели на гауптвахту. Там на нарах и прямо на полу, подстелив пальто, лежали человек пятнадцать мужчин, молодых и постарше, которые как по команде уставились на новичка. В помещении пахло бог знает какой дрянью, единственное зарешеченное окошко находилось где-то под потолком, бровень с улицей. «У меня хоть курево есть, и то хорошо», — подумал Йозеф, стараясь поудобнее устроиться на нарах. Скоро все разноперые обитатели камеры один за другим познакомились с помощником. Кого здесь только не было, и все отбывали примерно то же наказание, что и Йозеф. И все как один бралились. Либо костерили кого-нибудь из старших офицерских чинов, который якобы учинял всяческие безобразия, либо обрушивались на какого-нибудь государственного служащего или гражданского чиновника. Физиономии этих пятнадцати — шестнадцати выражали скуку, жажду свободы передвижения и недовольство тупым безразличием, царящим на гауптвахте. Кое-кто сидел уже целую неделю, а один — скотник по профессии — даже целый месяц.

Здесь рядом с отприском владельца гостиницы и африканским путешественником лежал обойщик, рядом с каменщиком и подсобным рабочим — приказчик, рядом со скотником — богатый еврей-коммерсант, рядом с подмастерьем слесаря — булочник. Все пятнадцать были разные, но все были схожи в манере ругаться и коротать время. Люди обеспеченные и образованные угодили сюда потому, что закон исключал замену ареста денежным штрафом, вот здесь и царило равенство, какого на свободе, в привольной кипучей жизни искать придется долгонько.

Ни с того ни с сего затеяли игру в «отбивную», которая, как показалось Йозефу, была частью каждого дневного ритуала и заключалась в следующем: участники довольно немилосердно лупили пятернями по заду того, кому выпал жребий подставить сию часть тела под жестокие шлепки. Один из зрителей должен был закрывать страстотерпцу глаза, чтобы тот не видел, откуда сыплются побои. Если же он, невзирая ни на что, угадывал, кто его треснул, то получал «свободу», а пойманный с поличным волей-неволей занимал малоприятное место отпущенника, пока и ему не удавалось — рано или поздно — угадать правильно.

Этой игрой ретиво забавлялись битый час, пока руки не устали. Через некоторое время принесли обед — господи боже мой, поистине тюремная еда, не бобы, не свекла, не цветная капуста, даже не кусочек свинины, а похлебка с ломтем хлеба, скучным и сухим, да еще глоток воды. Похлебка тоже немногим разнилась от воды, вдобавок, что весьма противно, ложки были цепочками прикованы к котелкам, словно кто позарится на это барахло — да с какой стати?! Однако цепочки выглядели по-армейски, были практичны,

но обидны, а обитатели гауптвахты были тут, понятно, не затем, чтобы их обхаживали, ласкали и носили на руках. «Презренному поступку — презренную кару» — вот что, казалось, было четко выбито на посуде и обдавало душу холодом.

Двое скучных беспросветных суток!

Скотник — он же дояр — был еще повеселей других. Этого и вправду красивого парня «они» доставили сюда в наручниках, потому что он дерзнул стукнуть по голове полицейского унтера, который брал его под стражу, да так, что у того кровь брызнула из носа и изо рта. За это дояру, конечно, добавили к первоначальному сроку еще месячишко с лишним, что, правда, отнюдь не удручало этого человека, судя по всему неустрашимого и абсолютно равнодушного к благородным вопросам чести. Наоборот, он превратил вынужденное тупое лежание в потешную, развеселую, многодневную забаву; он отлично умел развлекать себя и других, и смех в подвале гауптвахты никогда не затихал до конца. Дояр толковал о государственных и военных деяниях не иначе как тоном по-детски самоуверенного превосходства и заносчивости. Ни разу с губ его не слетело ехидное и злобно-мстительное слово. Он рассказывал тысячи забавных историй — то ли выдуманных, то ли случившихся наяву, — а содержание их почти всегда сводилось к тому, как одурачили и обвели вокруг пальца некую высокопоставленную персону, причем невозможно было отделаться от впечатления, что этот пригожий, нахальный малый привык обращаться с такими персонами как с какими-нибудь смешными, тупоголовыми марионетками. Парень был энергичный, ловкий, а потому добрую половину его историй можно было спокойно и без ущерба для здравого смысла принять на веру, ведь он в самом деле казался прямым наследником гордых, неукротимых предков, кипел давно утерянным в долгой череде поколений азартом игрока и воина и был наделен мужеством, которое просто не могло не презреть законы и заповеди широкой общественности. Как ни странно, чтобы еще ярче оттенить бесчинства, какие он творил с всевозможным начальством, скотник носил на своих кудрях военную шапку, сохраненную со времен бог весть каких прежних учений. При всех своих бродяжьих замашках он, надо сказать, был отнюдь не чужд простых и нежных движений души, по крайней мере нет-нет да и слышали, как он распевал на тирольский манер, — а пел он чудесно и с большой музыкальностью. И о своих многочисленных и дальних странствиях он тоже рассказывал не без тоски, ведь он измерил шагами всю необъятную Германию, чуть не в каждой усадьбе побывал. Было весьма забавно и приятно, даже романтично, слушать о его встречах с тамошними барами да с помещиками — пусть он и привирал и давал волю своей неуемной фантазии. Парень был поистине красавец: изящной формы рот, черты лица благородные, ясные и спокойные, — взглянешь на него, и невольно кажется, что в бурную годину войны он, возможно, сумел бы оказать отечеству серьезные услуги. Весь его облик наводил на мысль о канувших в прошлое эпохах и укладах жизни; к примеру, когда он пел — пока Йозеф сидел в каталажке, он как-то раз пел даже среди ночи, — ты словно внимал музыке и чарам былых могучих времен. Диковинный вечерний ландшафт оживал в томительно-печальных звуках, и сердце щемила жалость к певцу и к нынешней эпохе, которая

почитала своим долгом так мелочно и бестолково обходиться с людьми, подобными этому скотнику.

Два дня на гауптвахте предоставили помощнику отличнейшую возможность кое о чем задуматься, например о своей прошлой жизни, или о тяжелом положении Тоблера, или о будущем, или о «Всеобщем кодексе обязательственного и торгового права», однако же он этого не сделал, упустил и этот бесценный случай, довольствуясь проказами, песнями и похабными остротами скотника, которые, на его взгляд, были куда интереснее всех размышлений былого и настоящего. Вдобавок чуть ли не каждые два часа снова и снова затевали «отбивную», что опять-таки не разжигало стремления пофилософствовать, или же в камеру с грохотом вваливался надзиратель и выкликан «отсидевшего» свое арестанта, а это тоже мешало сосредоточиться на высоких материях, привлекая внимание к вещам низким и обыденным. Да и зачем думать-то?

Разве переживание и сопереживание не есть та самая идея, которая превыше всего? Пусть сорок восемь часов отсидки дали в результате сорок восемь мыслей, но разве не достаточно одной-единственной обобщенной идеи, чтобы удержать свою жизнь на ровной гладкой стезе? Эти великолепные, внушающие уважение, старательно продуманные сорок восемь мыслей — что пользы от них молодому человеку, коль скоро он, по всей вероятности завтра же, их забудет? Одна-единственная направляющая мысль, разумеется, намного лучше, но эта мысль не желала мыслиться, она растворялась в ощущениях.

Как-то раз Йозеф услыхал от скотника, что-де чихать он хотел на отчество во всем его величии.

Какое бесхитростное высказывание, и какое несправедливое! Конечно, отчество, или юридическая его ипостась, придирилось к скотнику, мешало ему, сковывало по рукам и ногам, присуждало к унылым и изнурительным срокам лишения свободы, наводило на него скуку, подстраивало неприятности, вводило в расход и вредило его физическому здоровью. Но то, что высказал скотник, были мысли тысяч людей. Тысяч людей, чья жизнь шла далеко не так ровно и размеренно, как это предусмотрено в сухих строках армейского устава. Не всякому было столь сподручно нести службу, как тем многим, кто умудрялся превратить службу в пожизненный гешефт, позволяя государству кормить себя и содержать. Некоторым служба пробивала досадную брешь в профессиональной карьере, более того, иной по ее милости попадал в горчайшее и беспощаднейшее затруднение, так как взыскательное армейское житье-бытье, точно бездонная бочка, пожирало с натугой скопленные гроши — раппены, сантимы, пфенниги — и под конец от них оставался пшик. Не каждый мог затем попросить поддержки у отца с матерью, не каждого сразу же вновь брали в контору, на фабрику или в мастерскую — частенько он весьма не скоро вновь водворялся среди работающих, учащихся, занятых полезной деятельностью, целеустремленных людей. Ну можно ли вообще рассчитывать на любовь этакого индивида к отечеству? Какая нелепость!

«И несмотря на это!» С согревающим чувством, которое было заключено в этом мысленном «несмотря на это», помощник вскочил с нар, чтобы поиграть в «отбивную». Он был везучий и «подставлялся» всегда недолго. Каждый раз он очень быстро угадывал, кто его огrel. Подмастерья слесаря он опознавал по свирепости удара, обойщика — по неуклюжести, еврея — по промахам, африканца — по жеманной стеснительности в игре, а скотника — по манере сдерживать руку и гасить размах. Скотник с первой же минуты проникся к Йозефу известной симпатией и, рассказывая что-нибудь, неизменно обращался к нему, поскольку видел в помощнике самого внимательного слушателя.

Курить «узникам» воспрещалось, но девочки-школьницы, подойдя к зарешеченному окошку, с замечательнейшей сноровкой снабжали обитателей гауптвахты табаком. Один из арестантов влезал на плечи другому и посредством припрятанной от надзирателя палки с гвоздем быстро и ловко подцеплял пачки табаку и сигар, а взамен бросал маленьким контрабандисткам в окно мелкие монеты, так что в каталажке вечно дым стоял коромыслом. Надзиратель, человек, судя по всему, добродушный, на это молчал.

Две ночи на гауптвахте были для Йозефа холодными, зябкими и бессонными. На вторую ночь ему удалось вздремнуть, но сон его был тревожен и полон сумбурных видений.

«Отечество» скотника со всеми своими округами и кантонами широко раскинулось перед его горячечным взором. Из пелены тумана выныривали призрачные, сверкающие Альпы. У их подножия тянулись сказочно зеленые прекрасные ковры, над которыми плыл перезвон коровьих бубенцов. Голубая река блестящей лентой мирно струилась по земле, ласково обтекая деревни, города и рыцарские замки. Вся страна напоминала собою картину, но картина эта была живая; люди, события, чувства перемещались по ней то так, то этак, словно дивно-прекрасные узоры в огромном калейдоскопе. Торговля и промышленность, казалось, чудесно процветали, а серьезные и прекрасные искусства грезили в укромных уголках под плеск фонтанов. Вот сама поэзия задумчиво и одиноко склонилась над письменным столом, а живопись победоносно работала у мольберта. Несчетные мастеровые, завершив свой праведный труд, неторопливо, спокойно и устало возвращались домой. Дороги, залитые вечерним светом, явно вели домой. Звучали привольные, гулкие, берущие за душу колокола. Эти возвышенные звуки точно затопляли эхом, окутывали громом и обнимали все вокруг. Затем послышалось тонкое серебристое позвякивание козьего бубенца, будто на высокогорном пастбище среди скал. Далеко снизу, с равнин, доносились свистки паровозов и шум работ. Как вдруг все эти картины сами собою порвались, словно развеянные шквалом ветра, и на их месте отчетливо и горделиво поднялись стены казармы. Перед казармою замерла по стойке смирно рота солдат. Полковник или капитан верхом на коне отдал приказ построиться в каре, и солдаты под водительством офицеров выполнили перестроение. Удивительно, но полковник этот был не кто иной, как скотник. Йозеф определенно узнал его рот и зычный голос. Скотник произнес короткую, но зажигательную речь, в которой призвал армейскую молодежь любить отчество. «Несмотря ни на что!» — подумал Йозеф и улыбнулся. Они ведь стоял и вольно, значит, можно улыбнуться. День был воскресный. Молодой смазливый лейтенант подошел к солдату Йозефу и приветливо сказал: «Не побрились,

Марти, а?» Засим, гремя саблей, он двинулся дальше вдоль строя. Йозеф смущенно схватился за подбородок. «Я сегодня даже побриться не успел!» Как сияло солнце! Как было жарко! Внезапно сон сделал скачок и открылось просторное поле, где полукругом залегла стрелковая цепь. Ружейные выстрелы гулко отдавались среди поросших лесом гор, звучали сигналы. «Вы убиты, Марти! Падайте!» — крикнул скотник-полковник, озирающий с высоты своего скакуна поле боя. «Ага, — подумал Йозеф, — он ко мне благоволит. Разрешает отдохнуть здесь на этой чудесной травке». Он так и пролежал на земле до конца боя, жуя травинки и освежая их соком пересохший рот. Как прекрасен мир, сколько в нем солнца! Какое наслаждение — лежать вот так! Однако пора было подняться и вновь стать в строй. А он не мог, какая-то сила пригвоздила его к земле. Травинка не желала вытаскиваться изо рта; Йозеф старался изо всей мочи, пот выступил на лбу, душу обвязал страх — и он проснулся, и снова был на нарах, рядышком с храпящим подмастерьем слесаря.

Через три часа за ним пришел надзиратель. «Отсидка» кончилась. Йозеф попрощался со всеми. Бедняге скотнику, которому предстояло сидеть еще полтора месяца, он сердечно пожал руку. Документы опять в кармане, и можно снова выйти на улицу. Руки и ноги у него промерзли и плохо слушались, голова со сна еще полнилась гулом, звоном и стрельбой. Но час спустя его опять окружили реальные, тоблеровские дела. Часы-реклама и патронный автомат сердито и вместе с тем умоляюще призывали его к себе, и Йозеф опять писал за своим столом.

— Изрядную передышку вы себе устроили, — сказал инженер. — Двое суток! Ощутимый срок в таком предприятии, как мое. Теперь придется поднажать с удвоенной; силой. Надеюсь, вы помните, что я вам говорил. Помощник нужен мне, естественно, не затем, чтобы каждую неделю сидеть под арестом. Никто не посмеет от меня требовать, чтобы я пла…

Он хотел сказать «платил жалованье», но внезапно осекся и задумался. Йозеф счел за благо смолчать.

Кресло для больных было готово. Прелестная уменьшенная модель на чертежном столе Тоблера минуты спокойно не стояла: инженер с нескрываемым восхищением вертел ее и так и сяк, чтобы вполне налюбоваться своим детищем. Одновременно он усадил помощника писать письма-предложения, адресованные различным крупным фирмам, отечественным и зарубежным, торгующим больничным оборудованием.

Простым вращением винта и поворотом рукоятки Тоблер легко сложил изящную конструкцию, велел запаковать ее в хорошую бумагу, взял шляпу и отправился в деревню показать этим скептикам и насмешникам бэренсвильцам, какую он опять соорудил хитрую да практичную штуковину.

Йозефу меж тем надо было написать местному мировому судье, что Тоблер не сможет завтра в девять утра лично присутствовать на совещании по иску Мартина Грюнена, ибо у

него срочные дела. Посему он считает своим долгом сообщить г-ну мировому судье необходимые разъяснения и цифры письмом, из коего тот сможет заключить, что...

«...что мой хозяин сущий ангел», — с улыбкой докончил про себя помощник, не без легкой злости. Подготовив это письмо, он должен был составить второе, аналогичное, выдержанное чуть ли не в еще более бесцеремонном тоне объяснительное послание на имя высокочтимого окружного судьи. И опять Йозеф подивился четкости собственного эпистолярного стиля, а также вежливым оборотам, которые умело вплетал в энергичный текст. «Излишняя грубость недопустима», — думал он, совершая вылазки в края учтивости и скромности. С этим письмом он тоже разделялся довольно быстро, потому как «уже здорово навострился» в этом деле, и с сознанием исполненного долга вновь закурил одну из пресловутых неистребимых сигар. Что им все эти мировые да окружные суды и столь же многочисленные, сколь и коварные официальные требования уплатить по счетам — они с Тоблером и в ус не дуют, знай себе спокойненько и безмятежно смолят ароматные табачные крутки да пускают кольца дыма.

По деревне словно прокатилась волна прозрения — мало-помалу, сперва шепотком, а теперь уж и в полный голос, бэренсвильцы убежденно заговорили о том, что наверху «Под вечерней звездой» «спасать» больше нечего, разве что предпримешь кое-какие юридические шаги и хоть сколько-нибудь взыщешь по закону. Дошло до того, что г-н Тоблер — а в его лице и фирма, и семейный бюджет — превратился в этакую мишень, которую со всех сторон методично, руководствуясь канонами вексельного права, обстреливали, осипали и забрасывали исками. Ни дать ни взять праздничный фейерверк — ракеты валились на тоблеровский дом и слева и справа, и сверху и спереди, и сзади, оставляя после себя дыры и досаду. Судебный пристав, или взышчик, целыми днями нагло и в то же время неспешно шнырял вокруг дома и в саду, словно тут он как-то особенно отдыхал душою, словно именно тут, наверху, ему особенно нравилось. С виду казалось, будто этот человек просто-напросто любитель садоводческого искусства и красот природы.

Но быть может, эта тощая, костлявая фигура послана сюда каким-нибудь строительным консорциумом или даже неким географическим обществом, чтобы на глаз и в уме произвести съемку местности? Едва ли! Однако вид у него был именно такой. Г-жа Тоблер ненавидела его и боялась, а заприметив, спешила отойти от окна, точно он олицетворял собою дурное предзнаменование и настрой. Хозяйка была права, ведь если кто, расхрабрившись, заглядывал в лицо этого человека, как бы запертое на ключ и нагло заколоченное, то у него мороз пробегал по коже и невольно возникало ощущение, будто его коснулась ледяная рука беды.

С Йозефом этот господин общался в изысканно-свообразнейшей манере. Он умел вдруг, точно исторгнутый из темного земного нутра, объявиться перед конторой, как бы вытесняя собою и свет и воздух. С минуту он стоял так, не затем чтобы сделать что-то или подготовить, а просто, кажется, ради собственного удовольствия. Потом он отворял дверь, но не входил — входить пока было не время, — а опять замирал, точно проверяя, какое

впечатление производят его зловещие ухватки. Не отрывая своего холодного взгляда от помощника, которому было здорово не по себе, он наконец входил в контору и первым делом опять-таки замирал. Ни «добрый день», ни «добрый вечер» он никогда не говорил. Время суток для него словно бы не существовало, равно как и воздух небесный, ибо человек этот взирал на мир так, будто дышать ему не было надобности. Придав своему костлявому лицу непроницаемое выражение, он доставал из черного кожаного бумажника один-два бланка, поднимал их высоко вверх и ронял на стол помощника — безмолвные, ощетинясь углами, они летели вниз, словно вот-вот вонзятся острыми когтями в стол. Покончив с этими манипуляциями, он, видимо, упивался сознанием того, что навел своим обликом уныние и гнетущую тоску, ведь он даже не думал уходить, а минуту-другую пробовал водворить бумажник обратно в карман. Потом бурчал что-то вроде «прощайте» и выходил из конторы. От этого «прощайте» мурашки пробегали по спине, лучше б ему вовсе ничего не говорить; слова его звучали рассеянно и вместе с тем нарочито холодно и жестко. Ну вот, кажется, он и уходит, но нет, самое ужасное было еще впереди: как бы примериваясь, он обводил взглядом окрестности, дом и сад. Потом в конторе распахивалась другая дверь, на пороге появлялась возбужденная г-жа Тоблер, с широко раскрытыми глазами, и испуганно лепетала:

— Он опять в саду! Смотрите, смотрите!..

В те дни, когда приходил этот человек, погода обыкновенно была пасмурная, холодная, молчаливая — не то снег, не то дождь. По цоколю стены дома сочились сыростью, с озера дул пронзительный ветер, суля новые метели и ливни, а само озеро было свинцовым, блеклым и печальным. Куда девались его дивные утренние и вечерние краски?! Канули в пучину вод? В такие дни точно и не было уже ни утра, ни вечера, унылые часы походили один на другой, казалось, им наскучило носить свои имена и разниться милыми, привычными световыми нюансами. Ну а если среди этакого тусклого уныния и обезображенности природы появлялся еще и человек с черным кожаным бумажником, то и г-жа Тоблер, и помощник единодушно считали, что земля вдруг перевернулась и они видят не естественную, а теневую, изнаночную сторону всего реального и обыденного. Красивый особняк Тоблеров словно окутывала какая-то призрачная пелена — и счастье и праздничность этого дома, более того, даже его право на существование как бы растворялись в обманчивом, тусклом и бездонном сновидении. И когда г-жа Тоблер смотрела в окно на свое летнее озеро, теперь уже зимнее и туманное, и глазам и чувствам ее открывалась меланхolia, которая завладела всем миром зриемых предметов, она невольно подносила к глазам платочек и заливалась слезами.

Одним из самых оголтелых кредиторов оказался садовод, который прежде неизменно следил за выполнением сезонных работ, поставлял и обихаживал растения в усадьбе «Под вечерней звездой». Этот тип, как целый батальон сквернословов, банил Тоблера и все его семейство и твердил, что не даст себе ни минуты покоя, пока не настанет день его торжества, когда у этих «зазнаек» опишут имущество и вышвырнут их из виллы. Г-ну Тоблеру — отчасти чтобы польстить ему, а отчасти чтобы исподтишка уколоть — услужливо передали эти хамские речи, и он сей же час распорядился забрать из теплиц

садоводческого хозяйства принадлежащие ему растения и свезти их в подвал к другу, страховому агенту, тому самому, что присутствовал на освящении грота. Йозефу доверили срочно выполнить этот приказ, и у него не было причин медлить. И вот он поехал в одноконной упряжке к садовнику и нагрузил полную телегу растений, в числе которых была уже довольно высокая белая пихта. Похожая на сад повозка двинулась по улицам, минуя изумленных прохожих, и остановилась у нужного дома. Страховой агент сам помог разгрузить телегу и перенести поклажу в подвал — сколько уместится. Молоденькую пихточку пришлось закрепить веревками в наклонном положении: подвал был чересчур низок для стройного, гордого деревца, а так оно хотя бы расти сможет. У помощника сердце кровью обливалось, когда он смотрел на бедняжку — но что поделаешь? Так хотел Тоблер, а воля Тоблера была для помощника единственным и непреложным руководством.

Страховой агент в самом деле остался верен Тоблеру. Это был простой, но просвещенный человек, ему и в голову не пришло из-за трудностей чисто внешнего характера отказать в дружбе и доверии человеку, которого он привык ценить. Теперь он был чуть ли не единственным, кто еще заходил по воскресеньям на виллу, чтобы разыграть партию в ясс. Выпивки у Тоблеров, слава богу, пока хватало! Ведь буквально на днях из Майнца прибыл небольшой бочонок, полный отменного рейнвейна, запоздалый, но тем более желанный отклик на заказ, сделанный в былье, лучшие времена. Тоблер удивленно воззрился на бочонок; он никак не мог вспомнить, чтобы когда-то заказывал в майнцской фирме такое дорогое вино. Йозеф опять получил дополнительное задание — разлить вино по бутылкам, а после аккуратно закупорить их пробками; в этой работе он продемонстрировал недюжинную ловкость, так что г-жа Тоблер, наблюдая за его спортивными движениями, в шутку спросила, уж не работал ли он раньше в винных погребах. Таким вот образом в доме порой выдавался веселый, самозабвенный часок, который отлично помогал превозмочь великое множество часов тяжелых, а это было неоценимое и нужное всем благо. Но неожиданно захворала г-жа Тоблер.

Сколько она ни бодрилась, а пришлось уложить ее в постель и вызвать врача, того самого д-ра Шпеккера, который уже не первую неделю старательно избегал переступать порог дома, внутренние опоры которого грозили вот-вот рухнуть. По вызову он, однако же, явился, хотя не мог не опасаться, что гонорара за врачебные труды и беспокойства полуночного пути в кромешной тьме не получит. Он тихонько подошел к постели г-жи Тоблер и говорил с нею так, будто никогда не прекращал свои дружеские визиты, а по-прежнему поддерживал с семейством инженера наилучшие отношения. Он участливо спросил о болях и с каких пор они донимают г-жу Тоблер и так далее. И исполнил он свои серьезные профессиональные обязанности так мягко и приятно, как только мог. Позднее, хотя был уже первый час ночи, Тоблер показал доктору свое кресло для больных, благо как раз сегодня был получен первый образец его в натуральную величину. Можно не откладывать опробовать кресло на собственной жене, сказал изобретатель с деланной веселостью, но шутка вышла неудачная.

— Может, выпьете на дорожку рюмку вина, господин доктор?

Нет. Врач ушел.

Ну вот, в довершение всех бед она вынуждена лежать в постели, жаловалась г-жа Тоблер каждому, кто заходил к ней. Мало того, продолжала сетовать она, что в доме и в делах все вот-вот пойдет прахом, так тут еще и здоровье подводит. Угораздило ее заболеть, когда в работе каждая рука на счету, и вообще, глаз да глаз нужен, как никогда. А расход какой — где взять столько денег? Она так слаба, а ей очень хочется взбодриться, очень хочется, чтобы несчастья скорей остались позади. Где Дора? Пусть придет к мамочке.

Йозефа к больной не допускали. Но поскольку болезнь затягивалась, а у него возникла настоятельная необходимость кое-что ей сказать, он осмелился зайти в комнату. Сделал он это с робостью человека грубоватых, в общем-то, привычек. Хозяйка встретила его улыбкой и подала ему руку, он же, заикаясь, пожелал ей скорейшего выздоровления. Какие у нее огромные глаза! А эта рука. До чего же бледная! И это жестокосердая мать? Она спросила, как там в гостиной, как ведут себя дети, и слабым голосом добавила, что ему придется теперь, до ее выздоровления, немного побывать воспитателем. Ей так хочется побыстрее стать на ноги. Хорошо ли готовит Паулина? И как обстоят дела?

Он ответил на ее расспросы и был в ту минуту совершенно счастлив. И этой женщине, которая даже в постели, занедужив, умела оставаться настоящей дамой и от болезни скорее хорошела, чем дурнела, этой женщине он собирался читать мораль?! Как несправедливо и ребячливо! И все же вполне допустимо. Ведь с Сильви и сейчас обращались ничуть не лучше прежнего.

Если в эти дни Сильви готова была разразиться криком, Паулина шипела ей в ухо: «Тише ты!» Надо было щадить больную.

Сказано — сделано: при первом же удобном случае Тоблер опробовал на жене патентованное кресло для больных. Она осталась весьма недовольна качествами этого изобретения и рискнула попенять на недочеты. Прежде всего, сказала она, кресло пересчур тяжелое, давит, и потом, надо сделать его пошире, а то слишком тесно.

Неприятно было услышать такое от собственной жены. Но Тоблер, поняв, что кое-что упустил, сразу же принялся вносить соответствующие изменения и быстро набросал за чертежным столом несколько новых деталей, чтобы не откладывая послать эскизы столяру. Переделок требовалось совсем немного, а там, глядишь, можно без опаски приступать к серийному выпуску. Инженер получил уже письма от целого ряда магазинов и сбытовых контор, что они, мол, весьма заинтересованы в получении ознакомительных образцов.

А часы-реклама? Как подвигались дела с ними? Установлен контакт с вновь созданной компанией: туда направлено детальное предложение, вкупе с краткой биографией автора проекта — так пожелала фирма. А значит, падать духом пока не стоило!

Электростанция между тем отключила в доме свет, по соображениям, которые вынудили и всех прочих поставщиков совершенно закрыть кредит хозяевам виллы «Под вечерней звездой». Когда Тоблер узнал об отключении электричества, он рассвирепел, чуть не до умопомрачения и послал чиновникам с электростанции бессильно-гневное и не в меру язвительное письмо, прочитав которое, эти господа, и в первую очередь директор, добродушно и пренебрежительно посмеялись. Делать нечего — пришлось обитателям особняка вернуться к скромным керосиновым лампам, и надо сказать, все, кроме самого инженера, быстро привыкли к такому освещению. Однако же Тоблеру, когда он поздно вечером возвращался домой, слишком недоставало его любимой электрической лампочки на веранде — ведь он всегда воспринимал ее как приветный огненный знак, как сияющий символ незыблемости своего дома. Теперь ее не было; и это причиняло ему боль, бередило в его груди и без того огромную рану, а поэтому он еще больше мрачнел и терзал домочадцев резкими перепадами настроения.

Главное теперь было — достать некоторую сумму денег, любой ценой, и расплатиться хотя бы с самыми срочными долгами; вот почему однажды утром пришлось написать матери Тоблера, женщине состоятельной, но упрямой и известной неколебимостью своих принципов, нижеследующее письмо.

Дорогая матушка!

От моего адвоката Бинча ты, верно, наслышана о том, в сколь стесненном положении я теперь нахожусь. Я — как пойманная в силок птица, которую змея завораживает своим колючим убийственным взглядом. Кредиторы мне буквально проходу не дают — будь это друзья и покровители, я бы непременно прослыл богачом и всеобщим любимцем; к сожалению, однако, они не знают пощады, а я знаю лишь тягчайшие заботы. Ты, дорогая матушка, и прежде не раз выручала меня из беды; я помню об этом и всегда думаю о тебе с благодарностью, а поэтому прошу тебя, причем настоятельнейшим образом, прошу так, как просят люди, к горлу которых приставлен кинжал публичного позора, помоги мне и на сей раз выбраться из трудного положения и немедля, при первой же возможности, вышли мне хотя бы часть тех денег, на которые я по всем юридическим статьям вправе претендовать и поныне. Матушка, пойми меня, это не угроза, я сознаю, что полностью завису от твоей доброй воли, сознаю и то, что при желании ты можешь погубить меня, — только зачем тебе желать моей гибели? Вдобавок моя жена, твоя почтительная дочь, сейчас хворает. Она лежит в постели и встанет не скоро, — дай-то бог, чтобы она вообще когда-нибудь всталла. Как видишь, еще и это! Куда податься деловому человеку, на которого со всех сторон сыплются такие удары? До сих пор мне более или менее удавалось держаться на плаву, но теперь я и вправду дошел до предела, сил моих больше нету! Что ты скажешь, если вскоре однажды утром или вечером прочтешь в газете, что твои сын поконч... нет, я не в состоянии произнести эту фразу до конца, ведь я говорю со своей матерью. Пришли мне деньги не откладывая. Это опять-таки не угроза, это только совет, но очень серьезный. В домашнем хозяйстве денег тоже почти не осталось, а к мысли о том, что детям рано или поздно будет нечего есть, мы с женой давно привыкли. Я описываю тебе свои обстоятельства не такими, каковы они на самом деле, просто мне

думается, иначе описать их в приличных выражениях будет невозможно. Жена моя шлет тебе сердечный привет и обнимает тебя, равно как и твой сын

Карл Тоблер.

Р. С. Я и сейчас по-прежнему твердо убежден, что все мои начинания увенчаются успехом. Часы-реклама покажут себя, помяни мое слово. И еще одно: мой помощник уйдет от меня, если не получит теперь давно просоченное жалованье.

К. Т.

Пока Тоблер сочинял за своим бюро это письмо, помощник за своим столом нацелил эпистолярное орудие на одного из братьев Тоблера, человека в обществе уважаемого, — он проживал в отдаленном районе страны и занимал там пост регириугсбаумайстера, — расписывая ему согласно только что полученным от шефа инструкциям, сколь плачевно обстоят дела «Под вечерней звездой», и что самое время... и прочая, и прочая.

— Написали? Давайте сюда. Я подпишу, или нет, погодите, письмо надо составить так, будто вы написали его по собственному почину, беспокоясь об интересах своего принципала. Переделайте и поставьте свою подпись. Пишите так, словно я об этом знать не знаю, понятно? У нас с братом неважные отношения, а вы для него человек совершенно чужой. Живее! Я должен еще прочесть, что вы там сочинили. А потом мне надо на станцию. Тоблер засмеялся.

— Это всё уловки, дорогой мой Марти, но, господи боже, надо как-то выкручиваться. Напишите моему благородному братцу, напишите — насчет задержанного жалованья. А там посмотрим — сработает или нет. Маменька-то наверняка раскошелится. Иначе... И не забудьте еще разок аккуратненько и четко изложить историю часов-рекламы.

Курите! Сигар у нас по крайней мере хватает. А дальше либо нам крышка, либо мы проблемся.

«Как легко этот человек увлекается надеждами и «уловками»!» — подумал Йозеф.

Через несколько дней г-жа Тоблер смогла встать с постели. И хорошо, потому что Паулина действительно распустилась и начала уже небрежничать. Хозяйка, облаченная в просторное темно-синее домашнее платье, опять появилась в гостиной и потихоньку принялась хлопотать по дому. Она вся как-то притихла и словно бы лучилась нежной улыбкой. Голос ее стал тоньше, движения выглядели более скромными и опасливыми, а глаза озирались по сторонам, как у любопытного ребенка. Болезнь окутала все ее существо какой-то прелестной мягкостью; казалось, она никогда больше не сможет вспылить, не сумеет с жаром вступиться за что-нибудь. С Дорой она обращалась естественнее, уже не так сладко, сюсюканье немного поутихло, и на Сильви она могла теперь смотреть, не вспыхивая гневом, что раньше случалось едва ли не всякий раз. Вообще она как бы освободилась от некоего сердечного порока и обликом стала благороднее и проще, чем бывало, — такое впечатление рождалось при каждом взгляде на

нее, да и сама она, пожалуй, чувствовала то же. На лице ее читалась озабоченность, а вместе с тем приветливость, спокойствие и что-то прямо-таки величественно-материнское. «Я опять более или менее здорова, слава тебе господи!» — будто говорили все ее мелкие жесты, и речь их была искренна и шла из самой глубины, ибо движения и манеры лгать не умеют. Ее губы пока чуточку лихорадило, точно в них не улеглась еще дрожь дурных волнений былого, но большие спокойные глаза сияли ясностью: «Я стала немного лучше, тоньше и сильнее. Взгляните на меня! Вы ведь это заметили, правда?» Ее пальцы бережно брались за рукоделие, за посуду либо за книгу; казалось, их наделили даром задумчивости. И они тоже как бы говорили: «Мы теперь кое о чем задумываемся, да-да, задумываемся, и гораздо спокойнее и без фальши. Мы стали ласковее». Верно, вся г-жа Тоблер стала понежнее, поласковее, но и побледнее.

Как ей нравилось сидеть в хорошо натопленной гостиной! Она смотрела в окно. Все снаружи было залито непроницаемым туманом. Как замечательно — ничего не видеть! Как уютно здесь, в доме! На миг перед ее довольным взором мелькнул образ лета; при виде его она совершенно спокойно сказала себе: «Что ж!» — и он опять исчез. Потом она вспомнила о своем новом платье и о столичной портнихе, мадам Берте Жирро, и невольно тихо рассмеялась. Потом небрежно смахнула пыль с мебели, но в прикосновениях ее скорее сквозило желание приласкать знакомые вещи и поприветствовать их. Все было ей так мило и так ново. А ведь прошло каких-то несколько дней. И за эти несколько дней, за эту коротенькую неделю все вокруг преисполнилось для нее странной, благотворной новизны. Все заволокло своеобразным мерцающим маревом, которое уменьшало и облагораживало окружающие предметы; у нее слегка кружилась голова. Она села.

В будке давно стало слишком холодно, и собака теперь почти все время была в доме. Только на ночь ее выпускали на улицу.

И наверху, в башенной комнатке, которая не отапливалась, мало-помалу воцарялся немилосердный холод; поэтому Йозеф вечерами, а иной раз до глубокой ночи сидел в гостиной, обычно вдвоем с хозяйкой, которая теперь почти никого не принимала. Паркетные фабрикантши, старая дама и барышня, обозлились на Тоблеров из-за маленьского, примыкающего к обеим усадьбам клочка земли, на который претендовали и та и другая сторона. Спор был слишком ничтожен, чтобы передавать дело в суд, но склоку поднялась изрядная — слово за слово, дошло до браны и оскорблений, и былуому добрососедству, разумеется, настал конец. «Чтоб эта дряхлая клуша и соваться не смела в мой дом!» — сказал Тоблер, тем самым решительно порвав узы дружбы. Но ведь о ком только инженер этакого не говорил? Он чуть не всем твердил, что «если они попробуют сунуться в его владения, то пусть пеняют на себя — уж он их приветит!».

Вот и коротали долгие вечера в одиночестве. Лампа обыкновенно освещала две головы — хозяйки и помощника, который составлял ей компанию, — а еще колоду карт или раскрытую книгу на обеденном столе.

Шли дни. И каждый час этих дней оставался в памяти. Их считали, на них рассчитывали, ведь было далеко не безразлично, как они шли — быстро или медленно, потому что именно днями решалась судьба семейства Тоблер. На вилле отыкали думать о месяцах и годах либо сокращали мысленно месяцы и годы, ускоряя бег воспоминаний; так вот и жили, в ожидании знаков, которые им подавали дни. Всякий шорох был важен — вдруг это почтальон с новой хлопотной неприятностью в виде письма или платежного уведомления. И всякий звук был важен — вдруг это дребезжанье дверного звонка, вдруг это кто-нибудь принес печальную весть. Важен был и любой оклик, ведь он мог оказаться весьма многозначительным. Вдруг кто-то крикнет: «Эгей, господа Тоблер! А ну-ка, живо выметайтесь из этого очаровательного обжитого гнездышка! Быстрее, быстрее, время не ждет. Хватит, попользовались, пора и честь знать». Вот какого страху мог нагнать любой оклик. Но и краски были важны, и облик дня, черты и мимика этих дней, как будто бы последних, потому что говорили они о последних надеждах, и последних усилиях, и о том, что надо предпринять, чтобы даже сейчас не пасть духом. Голоса у этих дней звучали тихо-тихо. Они ничуть не сердились на тоблеровское семейство и дом, напротив, они, казалось, оберегали его на расстоянии, в образе облаков и добрых гениев, улыбались ему и стремились утешить. Эти дни чем-то слегка напоминали г-жу Тоблер. Они тоже словно бы хворали и теперь выглядели такими же бледными и мягкими, как эта женщина, вокруг которой кружился их нескончаемый хоровод.

Но г-жа Тоблер мало-помалу опять стала прежней. Чем больше ее здоровье шло на поправку, тем больше она походила на былую себя. И то сказать — было бы очень странно, если б она вдруг переменилась. Нет, живая человеческая натура так быстро кожу не меняет. Будьте уверены, о том, чтоб ничего подобного не случалось, позаботились, да еще как! А помягчевшей хозяйка казалась лишь потому, что была еще слаба.

В один из этих вечеров оба — хозяйка и помощник — сидели при лампе в гостиной. Патрон был в отъезде. И вообще, когда он не был в отъезде? На столе перед каждым стояли бокалы, до половины наполненные красным вином. Они играли в карты. Г-жа Тоблер выигрывала, и потому лицо ее приняло веселое выражение. Она всегда смеялась, когда ей везло в карты, вот и сейчас тоже. С губ ее слетел наивно-злорадный смешок, который в другое время, возможно, разозлил бы партнера. Но Йозеф запил проигрыш глотком вина, и оба продолжили игру: г-жа Тоблер начала вновь тасовать карты. Примерно через час она сказала, что, пожалуй, немножко почтает ту книгу, которую помощник нынче принес из деревни. Бросив игру, хозяйка тотчас уткнулась в книгу, тогда как Йозеф, которому не хотелось открывать ни газету, ни роман, сел на кушетку и стал наблюдать за читающей женщиной. Она же словно с головой ушла в историю, повествуемую в книге. Одной рукой она временами озабоченно проводила по своему задумчивому лицу, а губы ее беззвучно, но тревожно шевелились, будто желая что-то сказать по поводу романтических перипетий. Раз она даже тихонько, но печально вздохнула, и грудь ее взволнованно затрепетала. Какое мирное и странное зрелище! Йозеф со все большим увлечением наблюдал за читающей, и сам будто читал большую, таинственно-захватывающую книгу, ему даже почудилось, будто он читал ту же книгу,

что и г-жа Тоблер; помощник глаз не сводил со лба хозяйки, и ему каким-то диковинным образом живо передавалось содержание романа.

«Как спокойно она читает!» — думал Йозеф, наблюдая за хозяйкой. Неожиданно она подняла голову и широко открытыми глазами посмотрела на помощника, точно ее мысленный взор блуждал где-то за тридевять земель и глазу трудно было припомнить, что перед ним сейчас находится.

— Я себе читаю и ничего не вижу, — сказала она, — а вы, наверно, все это время смотрели на меня. Вам это приятно? И не скучно?

— Нет, нисколько, — ответил он.

— До чего же такая вот книга увлекает! — заметила она и снова принялась читать.

Через некоторое время она, судя по всему, устала. Может быть, у нее слегка заболели глаза. Во всяком случае, она оторвалась от книги, но не закрыла ее, а словно бы раздумывала, читать дальше или не стоит.

— Госпожа Тоблер, — безмятежно начал Йозеф.

— Да? — отозвалась она, захлопнула книгу и перевела взгляд на помощника, который, видимо, намеревался сообщить ей что-то важное.

Однако же с полминуты царило молчание. Наконец Йозеф промямлил, что, мол, поступает опрометчиво. Ему хотелось сказать ей кое-что вполне определенное. Она вот только что оторвалась от книги, и, если он не ошибается, на лице у нее написана ублаготворенность. Тут-то он вдруг и надумал воспользоваться случаем, которого так долго ждал, и поговорить с нею, а теперь ему опять не хватает духу высказать то, что он хотел. Теперь он и сам видит, что г-жа Тоблер совершенно справедливо назвала его забавным человеком — помните, несколько недель назад? Ведь он собирался брякнуть глупость, которую и слушать-то не стоит. Так что с ее позволения он лучше помолчит.

Хозяйка наморщила лоб, а потом попросила помощника сесть ближе и высказаться. Ей ужасно хочется знать, куда он клонит. Нельзя ведь ни с того ни с сего заговаривать с людьми, возбуждать их любопытство и сию же минуту идти на попятный. Это обыкновенная трусость и даже глупость. Она вся внимание.

Йозеф послушно пересел к столу и сказал, что то, о чем он хочет сообщить, касается Сильви.

Г-жа Тоблер молча потупилась.

— Позвольте мне, сударыня, — продолжал Йозеф, — без обиняков заявить, что, на мой взгляд, с этим ребенком обращаются здесь возмутительно. Вы молчите. Хорошо, буду считать, что вы тем самым благосклонно позволяете мне продолжать. Вы очень

несправедливы к девочке. Что станется с нею в будущем? Достанет ли ей в свое время мужества и должного желания держаться с людьми по-человечески, ведь она будет вспоминать и не сможет не вспоминать, что в детстве ее воспитывали бесчеловечно? Что это за воспитание — отдать ребенка на произвол грубой и тупой прислуги вроде Паулины! Рассудку должно бы взбунтоваться против этого, пусть даже черствость диктует обратное. Я говорю так, потому что размышлял об этом, потому что подчас видел такое, от чего мне становилось искренне больно, а еще потому, что я испытываю горячее желание всеми силами служить вам, госпожа Тоблер. Я резок, правда? Что ж, с забавными людьми это случается. Впрочем, нет! Мне бы хотелось говорить с вами совсем по-другому. Так не годится. Я уже сказал чересчур много, и нынче не произнесу больше ни слова.

На минуту в комнате повисла тишина; наконец г-жа Тоблер сказала, что и сама уже не раз думала о том, что у нее есть основания упрекнуть себя в отношении Сильви. Кстати, теперь все это представляется ей очень странным. Но Йозефу нечего бояться, она прощает ему недавние слова, ведь он действовал явно из добрых побуждений.

Она опять умолкла. А потом заметила, что не любит эту девочку, и все тут.

— Почему? — спросил Йозеф.

Почему? Вопрос кажется ей глупым и необдуманным. Не любит, и все, терпеть не может эту Сильви. Разве можно силком заставить себя любить или благоволить кому-то, да и что это будет за чувство, если вымучивать его, выдавливать из себя? Чем она виновата, что ее гонит прочь от Сильви, как от зачумленной, едва она завидит девчонку? Почему она так любит Дору? Она не знает, да и не хочет знать, притом разве меткие ответы на подобные, как она полагает, никчемные и бесполковые вопросы придут ей в голову? Это задача не по ней. Да, ей понятно, что она поступает несправедливо. Как ни странно, она возненавидела Сильви, еще когда та была совсем крошкой. Да, возненавидела, это как раз то самое слово, оно великолепно выражает чувство, какое она питает к дочери. В ближайшие дни она обязательно попробует хоть капельку сердечнее относиться к этому ребенку, только едва ли что выйдет, любви нельзя научиться — либо она у тебя есть и ты ее ощущаешь, либо ее нет как нет. А если любви нет, то, по ее мнению, никогда и не будет. Но она попробует, непременно попробует. А теперь пора спать, она устала.

Г-жа Тоблер поднялась и пошла к двери. Но на пороге обернулась и сказала:

— Чуть не забыла: спокойной ночи, Йозеф. Я такая рассеянная! Потушите лампу перед уходом. Тоблер, должно быть, вернется не скоро. Вы сегодня вечером слегка огорчили меня, но я не сержусь.

— Лучше б мне промолчать, — сказал Йозеф.

— Ну-ну, не казнитесь! — С этими словами она стала подниматься по лестнице.

Помощник стоял посреди гостиной. А немного погодя вернулся Тоблер.

— Добрый вечер, господин Тоблер, — поздоровался Йозеф. — Гм. Позвольте сообщить вам, что полчаса назад я опять имел неосторожность надерзить вашей супруге. Признаюсь заранее. Ведь госпожа Тоблер наверняка сочтет нужным пожаловаться на меня. Заверяю вас, все это просто чепуха, совершил чепуха. Учтиво прошу вас: не надо делать такие большие глаза — по-моему, и глаза ваши не рот, и я несъедобен, не угрязешь. Что же до моего теперешнего тона, то в нем нет ничего удивительного: он продиктован яростью души. Не лучше ли вам в конце концов попросту вышвырнуть этого чудного помощника за дверь? Ваша жена целый год без зазрения совести мучает Сильви. Вы-то куда смотрите? Отец вы или только предприниматель? Доброй ночи, доброй ночи, думаю, уже нет надобности дожидаться, что вы скажете в ответ на столь диковинный демарш. Полагаю себя уволенным.

— Вы что, пьяны? А, Марти?

Тоблер кричал напрасно. Помощник был уже наверху. У дверей башенной комнатки он внезапно остановился. «С ума я сошел, что ли?» И он сломя голову опять ринулся вниз по лестнице. Г-н Тоблер еще сидел в гостиной. Йозеф, как прежде хозяйка, остановился в дверях и сказал, что сожалеет о своей неприличной, дикой выходке и приносит извинения, но... уволенным себя пока не считает. Если г-н Тоблер желает обсудить какие-либо деловые вопросы, Йозеф в его распоряжении.

Тоблер рявкнул во все горло:

— Моя жена дура, а вы ненормальный! Черт бы побрал эти книжки!

Инженер схватил библиотечную книгу и швырнул ее на пол. Он лихорадочно подыскивал обидные слова, но не находил их. Те, что он находил, были либо слишком крепкими, либо слишком вялыми. «Разбойник» — вертелось у него на языке, но ведь этим словом не обидишь. От замешательства его охватила безудержная ярость. Он бы сказал «собака», но это слово не лезло ни в какие ворота. И Тоблер замолчал, поскольку был не в состоянии повергнуть своего противника честным путем. И в конце концов расхохотался. Прямо захлебнулся хохотом.

— А ну, кыш отсюда в свою нору!

Йозеф счел за лучшее удалиться. У себя в комнате он долго стоял, не в силах думать ни о чем, даже о пустяках. Лишь одна мысль блуждающим огоньком бродила у него в сознании: он не получил еще ни гроша жалованья, а позволяет себе... такие дурацкие выходки. Что же завтра-то будет? Решено: он бросится хозяйке в ноги. Какая чушь! Измученный собственной тупостью, он вышел на балкон. Ночь была сухая и очень холодная. Звездное небо сверкало, и переливалось, и стыло от мороза. Казалось, именно звезды струили на землю леденящую стужу. По темному тракту брел какой-то человек. Башмаки металлически ударяли по камням. Все там, внизу, было словно из стали или из камня. Сама ночная тишина как бы гудела и позвякивала. Йозефу пришли на ум коньки, потом руда, потом вдруг Вирзих. Как-то ему живется? В нем шевельнулась легкая

симпатия к этому человеку. Наверняка они еще встретятся. Только вот где? Йозеф вернулся в комнату, разделся и лег.

В эту минуту послышался крик Сильви.

«Опять девчушку из постели тащат. Бр-р, ну и холод!» — подумал помощник, прислушался, приподнявшись на локте, но больше ничего не услыхал и заснул.

Утром он, дрожа и приуныв, на цыпочках спустился в контору. «Прогонят меня? — думал он. — Но как же так? Чтоб я ушел из этого дома?...»

Да, он сознавал, что очень привязался к этому дому, и мысленно продолжал: «Как бы это мне прожить без глупостей? В этом доме я сумел наделать их предостаточно.

А что будет в другом месте? Да разве я проживу без тоблеровского кофе? Кто в другом месте накормит меня досыта? Притом в уютной обстановке, и так разнообразно? В других местах обеды скучные, и уж вовсе не обильные! А в какую же аккуратно застланную постель я улягусь спать? Не иначе как под укромной аркой моста? Хороши хоромы! Господи, неужто к тому идет? А как мне прожить без этого края, прекрасного даже зимой? И что я буду делать вечерами, с кем разговаривать, как сейчас с милой, замечательной госпожою Тоблер? Кому буду дерзить? Не все люди воспринимают дерзости так по-особенному, так своеобразно, так славно. Вот горе-то! Я ужасно люблю этот дом. И где будет так мягко гореть лампа, где найдется столь уютная гостиная, как здесь, у Тоблеров? Н-да, просто руки опускаются. А мои мысли — разве они сумеют обойтись без таких повседневных вещей, как часы-реклама, патронный автомат, кресло для больных, глубинный бур? Нет, я знаю, что буду горевать. Я привязан к этим стенам, здесь моя жизнь. Странно, до чего же я привязчив! А низкий, рокочущий голос Тоблера — мне будет очень недоставать его. Почему это он все не идет? Я хочу знать, что со мной будет. Да, вот именно: что? Где еще обнимет меня пышными зелеными руками и прижмет к цветущей благоуханной груди такое же лето, как то, что мне посчастливилось провести тут, на холме? Где, в каком краю есть такие башенные комнатки? И такая Паулина? Хоть я частенько ссорился с нею, она все-таки тоже частица здешней красоты. Господи, как же скверно на душе! Тут мне позволялось быть «бестолковым», по крайней мере до определенного предела. Хотел бы я знать, где еще в цивилизованном мире дозволено такое? А сад, который я так часто поливал, и грот? Где мне дадут такое? Человеку вроде меня нигде больше не вкусить прелести и очарования сада. Неужели все кончено? Какой же я несчастный. Пожалуй, надо выкурить сигару. И сигар я лишусь. А-а, ну и пусть!...»

Вспомнив еще и флаг, что развевался летом, он заставил себя ухмыльнуться, чтобы не разрыдаться вдруг, как слоняй. Потом в контору вошел г-н Тоблер, как всегда с учтивым «добро утро». Ни слова о вышивании за дверь. Ничего подобного!

Йозеф принял самый смиренный и услужливый вид, он был нескованно рад, что «до этого» не дошло. И прямо-таки ретиво взялся за работу, поминутно оглядываясь на Тоблера: чем он там занят? А Тоблер занимался обычными делами.

— Что это за номер вы вчера выкинули? — спросил патрон немыслимо приветливым тоном.

— Действительно глупо получилось, — сказал помощник с робкой стыдливой улыбкой.

— Да вы не бойтесь. Жалованье никуда не денется, — пророкотал Тоблер.

— Да не надо мне этих денег. Я их не заслужил.

— Чепуха, — отрезал Тоблер. — У вас, конечно, были несуразные поступки, но в целом я вами доволен. Даже если фабрика, которой я предложил пай, даст согласие, то мы, надеюсь, все равно не расстанемся. Бухгалтер и там понадобится.

Позже патрон ушел.

Дора в тот день прихворнула — так, ничего серьезного. Легкая простуда. Но этого было достаточно, чтобы ухаживать за нею так, будто девочка, не ровен час, могла отдать богу душу. Дора лежала на кушетке в гостиной, и, когда Йозеф ненароком обронил, что собирается на почту — дело было к вечеру, — ему пришлось обещать, что он купит ей в бакалейной лавке несколько апельсинов. Обещание это он выполнил.

Во время ужина г-жа Тоблер то и дело поглядывала на кушетку и разговаривала с прелестной больной малюткой. Сильви смотрела во все глаза и даже рот раскрыла, словно размышляла о том, как же это некоторые умудряются так восхитительно болеть. Почему, собственно, сама Сильви не болела никогда? Не для нее это, что ли? Должно быть, природа поскупилась для нее этим замечательным состоянием? Или она чересчур ничтожна, чтобы простужаться? Вот было бы здорово, если б с нею хоть раз обошлись чуть помягче да поласковее. А Дора-то, Дора! Нет. Сильви с печальным удивлением смотрела на сестренку, будто была не в силах уяснить, как это Дора могла хворать столь мило.

— Вынь ложку изо рта, Сильви! Глаза бы мои не глядели! — сказала г-жа Тоблер. На лице ее в этот миг простило двойственное выражение — милое и спокойное для Доры, хмурое и строгое для Сильви. Одновременно хозяйка бросила беглый испытующий взгляд на помощника: ну-ка, что там у него на уме, а может, и на языке? Но Йозеф с улыбкой любовался Дорой.

И немудрено: ведь люди предпочитают смотреть на красивое и изящное, а не туда, где весьма неаппетитно возят кофейной ложкой во рту, бесформенном и невыразительном.

Цветущее лицо Доры очаровательно выглядывало из белоснежных подушек и перин, на которых, оставляя в пуху глубокие ямки, лежали в беспорядке принесенные апельсины. О, этот прелестный пухленький детский рот! Эти мелкие, но уже чуть ли не сознательно красивые и грациозные движения! Этот просительный, милый нежный голосок, эта доверчивость! Да, Дора, ты можешь доверять без опаски, навстречу тебе лицо матери всегда сияет добротою.

А Сильви... бедная горемыка. Разве этой девочке когда-нибудь вздумается просить, чтоб ей принесли из лавки апельсинов? Ни в коем случае. Она слишком хорошо знает, что, кого бы она ни попросила, в просьбе ей, скорей всего, откажут. Да и просьбы ее были вовсе не просьбы, а обыкновенная бормочущая зависть. Она просила, только когда Дора давно уже получила то, что хотела. Чтобы у нее у первой возникло какое-либо желание — такого еще не бывало. Желания Сильви сплошь были копиями; ее выдумки были не выдумками, а подражаниями тому, что приходило в голову Доре. Свежие мысли рождаются лишь в незамутненных детских душах, в забитых и презираемых — никогда. Подлинная просьба всегда первична, а не вторична, равно как и подлинное произведение искусства. Сильви же была вторична, третична и даже, может быть, семерична. Все, что она говорила, лепилось и выпекалось из ненастоящего теста, а все, что она делала, было лишено свежести. Сильви казалась дряхлой старушкой, в ее-то нежном возрасте! Какая несправедливость!

С минуту Йозеф, глядя на Дору, предавался таким вот размышлением. Ведь, глядя на Дору, вполне можно было составить себе отчетливое представление о ее антиподе и тогда было вовсе незачем обращать испытующий и сравнивающий взор на Сильви.

До чего же грустно! Эти два неравных ребенка. От таких мыслей Йозефу было впору громко вздохнуть. Когда Дору взяли на руки, чтобы отнести в кроватку, он подошел к ней и так растрогался, глядя на это кокетливо-невинное существо, что не мог не поцеловать ее маленькую ручку. Этим восхищенным поцелуем он словно желал отдать должное обеим — и Доре, и Сильви. Но как, как он мог на деле доказать свою преданность Сильви? Увы, никак. Вот и попытался хотя бы мысленно сказать что-то утешительное и почтительное малолетней заброшенной горемыке, как бы вложил губами это невысказанное в руку сестринской любви и природного милосердия.

Г-жа Тоблер это заметила. И весьма одобрила. «Забавный человек, этот Марти! — подумала она. — Вчера вечером выбранил меня за Сильви, а теперь, изволите видеть, сам влюбился в Дору». Она благосклонно улыбнулась и сказала Доре, чтобы та как следует мыла руки, если хочет и впредь получать такие поцелуи, и засмеялась.

Сильви она с натянутой миной пожелала доброй ночи и сказала, что та должна лучше следить за собой и больше не давать маме повода для строгостей, тогда все будет в порядке. Просто беда, что ее вечно приходится одергивать и то и дело наказывать. В конце концов, она имеет право ждать от дочери послушания и хорошего поведения. Ведь Сильви растет, она уже большая девочка. Ну а теперь марш к себе.

Сначала тон этой краткой речи старался быть любящим, но потом, словно сочтя мягкость неуместной и невозможной, мало-помалу посуворел и наконец оборвался приказным «марш к себе».

Когда все четверо детей ушли, началась партия в ясс. Помощник теперь уже приобрел довольно значительную сноровку в этой игре, что и доказывал непрерывными выигрышами, а это побуждало его крайне осторожно выбирать слова, ибо он отлично

знал, какая нервозность овладевала хозяйкой из-за неудач. Играли они целый час, время от времени, как и накануне вечером, пригубливая красное вино. Неожиданно г-жа Тоблер оторвалась от карт и сказала:

— Вы слышали, Марти? Муж посыпает меня к свекрови! Да, так-то вот, завтра утром поеду к ней с визитом. Деньги нам просто необходимы, иначе пиши пропало, а она молчит. Скупая очень. По крайней мере крепко держится за свое. Можете себе представить, как не по душе мне эта поездка, но другого выхода нет. Этую женщину, которую я видела бог знает когда и с которой едва знакома, эту женщину мне придется просить! А она встретит меня холодной снисходительностью, я, Марти, очень хорошо это чувствую. Ей легче легкого обидеть меня, уязвить, ведь в конце-то концов с нищенкой не миндальничают. Кстати, она с самого начала дала понять, что не очень-то меня любит. Будто я с самого начала приносила ее сыну, моему мужу, одни только неприятности. Вот и теперь она, конечно же, будет смотреть на меня как на грешницу. И платьями, которые я ношу, меня попрекнет: дескать, очень уж элегантные и покрой непомерно красивый. Нет, новый костюм я не надену, тут и думать нечего. Да и с какой стати? Раз едешь попрошайничать, одевайся в черное. Надену старое черное шелковое платье, это произведет самое что ни на есть покорное впечатление. Да-да, Йозеф, как видите, другие тоже принуждены смирять себя, приучать к терпению и скромности. Так уж выходит, кто его знает из-за чего, как и почему так скоро. Ох уж этот мир!

— Будем надеяться, что ваша миссия увенчается успехом, — заметил помощник.

— Тоблер потому меня и посыпает. Думает, что в такое трудное и щекотливое время его матери будет приятнее встретиться со мной, нежели с ним. По-моему, в этом все дело, а иначе он поехал бы сам. Ему так удобнее — в этом, пожалуй, есть доля истины. Мужчины охотно берутся за дела, в которых требуется лишь трезвый, бесстрастный рассудок. А вот когда речь заходит о личных жертвах, о долге и трудах душевного свойства, о чисто эмоциональных усилиях, они предпочитают прятаться за спинами жен и обыкновенно говорят: «Езжай ты! Ты справишься лучше меня». И все это с таким видом, словно божескую милость оказывают, ласками осыпают.

Оба рассмеялись. Потом г-жа Тоблер заговорила снова:

— Смеетесь! Кстати, я вам и не запрещаю. Смейтесь на здоровье! Я ведь тоже посмеялась, хотя вообще-то нам обоим не стоило бы веселиться. Ну-да, будем надеяться, что мне повезет. Хотя что я такое говорю?! Сама-то я давно оставила надежды, до сих пор вновь и вновь сулящие успех тоблеровским начинаниям. Вера в деловую хватку мужа у меня основательно пошатнулась. Вот так-то. Теперь я, пожалуй, убеждена, что ему недостает изворотливости и толстокожести, оттого он и не умеет заключить выгодную сделку. По-моему, за все это время он перенял у разных там продувных ловкачей одни только внешние повадки, тон, манеры, но не способности. Конечно, тому, кто удачив в делах, отнюдь не обязательно быть кровососом и негодяjem. Об этом и речи нет. Но мой муж слишком пылок, слишком опрометчив, слишком добр и в чувствах своих слишком

естествен. А к тому же излишне легковерен. Вы ведь удивлены, что я так говорю, правда? Но поверьте, мы, женщины, навек привязанные к тесноте и ограниченности дома, тоже кое о чем размышиляем, кое-что видим и кое-что чувствуем. Нам дано догадываться о сути вещей — что делать, раз уж точные науки нам заклятые враги. Мы умеем читать в поступках и взглядах. Как ни странно, мы молчим; молчим, потому что обыкновенно мысли свои выражаем плохо и неудачно. Наши слова зачастую только раздражают перегруженных делами мужчин, но не убеждают их. Так вот мы и живем, мирясь почти со всем, что происходит с нами и вокруг нас, говорим о пустяках, тем самым лишь подкрепляя домыслы о нашей духовной убогости и несамостоятельности, но в целом мы всегда довольны, по крайней мере мне так кажется. Нет, мой муж со своими патентами успеха уже не добьется, чутье мне подсказывает, божественное наитие, если угодно. Очень уж он любит жить широко, а для предпринимателя это на первых порах недопустимо. Вдобавок он слишком необуздан, и это ему вредит. Он чересчур дорожит собственными замыслами и тем самым губит их в зародыше. И характер у него слишком веселый, и воспринимает он все слишком уж прямолинейно, слишком остро, а потому здорово упрощает. Прекрасный он человек, и цельный, но в делах подобные натуры крайне редко преуспевают... Что-то я нынче разговорилась, а, Марти?

Йозеф молчал, только неприметная улыбка скользнула по его губам. А г-жа Тоблер продолжала:

— Моего Карла люди боятся, а в то же время обманывают его и строят за спиной насмешки, ведь как ни странно, они ждут от него бог знает каких пакостей, мне кажется, именно потому, что он слишком открыто и без смущения демонстрировал свое благосостояние, свою усадьбу, буквально мозолил им глаза. По простоте душевной он воображал, что другие радуются его оптимизму и разделяют его пыл, на деле же все было совершенно наоборот. Он всегда давал щедрой рукой, это была слабость, простительная, скажем, в моих глазах, но непростительная с точки зрения людей, которые как раз и пользовались плодами его расточительных благодеяний, словом, наживались на нем. Такие уж у него манеры — грубоватые, шумливые, — теперь, в несчастье, это именуют бахвальством. Добейся он успеха — это же самое называли бы иначе: удалью. Н-да... Нет, лучше б мой муж никогда не открывал собственного дела, не рвался к самостоятельности, а сидел бы и сидел на заводе, в прежней скромной должности. Как хорошо нам тогда жилось! Правда, своего дома у нас не было, но какой от него прок, если селятся там одни заботы? Вечерами мы гуляли вокруг холма, не спеша, в свое удовольствие. Только упрямый сумасброд мог все это бросить; и тем не менее в один прекрасный день мы так и сделали.

— Все еще уладится, госпожа Тоблер, — сказал Йозеф. Эти слова точно огнем опалили ей лицо.

— Не говорите так! — воскликнула она. — Это отвратительно. Вы же изо дня в день заглядываете в книги моего мужа — и говорите такое! Вам хочется утешить, а в действительности вы лишь обременяете сердце слабой женщины. Ну как, как все может

уладиться? Кощунствуйте этак перед гонителями моего мужа, но не передо мной! Опять вы меня расстроили. Пойду попробую отвлечься.

Она выбежала из комнаты.

«Вот те на! — подумал помощник. — Что ж это такое? Неужто чуть не каждый вечер надо устраивать бурные сцены? То я не в настроении, то она, то мы оба, то опять же Тоблер вспылит. То Сильви кричит, то Лео лает, то Дора больна. Не хватало еще, чтобы мы все в одночасье рехнулись. Тогда прости-прощай прелестный тоблеровский дом! Впрочем, до этого еще не дошло. Давайте-ка пока дождемся мамашиных денег, а потом частично расплатимся с долгами. Столько головомоек, как в этих стенах, мне, признаться, в жизни, не устраивали. Но, может, оно и к лучшему. Кстати! Я что, опять труса праздную? Тревожусь? Нет, слава богу, нет. Тоблер нынче, видно, опять решил заночевать в «Паруснике». Похоже, составлять его жене компанию тоже входит в мои обязанности. Бедняжка! Она заслужила компанию получше!

Он погасил лампу и пошел спать.

Наутро — погода опять была скорее сырая, чем холодная, воздух тяжело набух влагой — г-жа Тоблер в черном шелковом платье спускалась с холма, направляясь на станцию. Тоблер немного проводил ее, уверяя не падать духом и, боже упаси, не простудиться вновь на вагонном сквозняке, и прочая. Сверху было видно, как по лицу г-жи Тоблер скользнула улыбка и как она замахала платочком — Доре, а Дора в свою очередь помахала матери. «До чего же все кругом отсырело! Об эту пору могло бы и посуше быть, и похолоднее, зима ведь как-никак», — невольно мелькало в мозгу. Немного погодя глаза, что до последней минуты ловили каждое движение г-жи Тоблер, потеряли ее из виду. Принадлежали эти глаза Йозефу, Паулине, Сильви, Доре, мальчикам и Лео. Пес тоскливо лаял вдогонку хозяйке.

Человек, закосневший в романтических фантазиях, нашел бы, что все это напоминало отъезд королевы в изгнание. Йозеф у него был бы королевским вассалом, из числа верноподданных, что знакомы нам, людям современным, из старинных повествований, и рыдал бы теперь в три ручья, тогда как Паулина превратилась бы в камеристку из тех, что во время оно, как пишут в старых книгах, прислуживали благородным красавицам королевам, и истергla бы горестный вопль. Собака, наверно, стала бы у него драконом, ребятишки — королевскими чадами, а г-н Тоблер — богатырем, витязем, без которых в эпоху замков, крепостей, городских стен и слез верности, бывало, не обходились ни одни скорбные проводы в вечную ссылку. Но довольно! Тут все было совершенно иначе.

Тут дело шло не о вечном изгнании на бесприютный скалистый остров, а всего-навсего об однодневной поездке по железной дороге и о не вполне приятном деловом визите. И королевы тут в помине не было, ну разве что кто-нибудь вообразит г-жу Тоблер удрученной владычицей виллы «Под вечерней звездой», хотя это едва ли так уж оригинально и удивительно. И вовсе не мрачный герой, а модно одетый и современный г-н инженер Тоблер немного проводил даму, да и не утешал он ее, а просто дал несколько

разумных советов. О тоскующем слуге и вассале тоже речи не было, равно как и о еще более растерянной камеристке. Здесь были Йозеф и Паулина, а больше никого, кроме детей, причем дети были не королевские и не княжеские, а обычные бурггерские, какие есть в любом приличном доме. И Лео не был драконом. Он, чего доброго, и укусить мог за такие средневековые домыслы. Словом, эта сцена полностью принадлежала двадцатому веку.

— Ну, теперь скоро выяснится, что нас ждет, — сказал г-н Тоблер, вернувшись в контору. Сам-то он будет биться до победы, иначе и быть не может. Любая другая мысль ему просто смешна. Он от своих планов не отступится, тем более теперь.

И Тоблер занялся глубинным буром. Коммерческий отдел написал письмо специалисту по подземным сооружениям инженеру Йоэлю, который как будто бы «необычайно» заинтересовался этим агрегатом. Дети устроили тут же, в конторе, шумную возню, и Тоблер выгнал их за дверь. А потом и сам отправился в деревню, по поводу автомата.

Немного погодя ушел из конторы и помощник — на почту. По дороге туда два поденщика изругали его на чем свет стоит. Метили они, конечно, в его патрона, но по трусости связываться с самим инженером боялись. Дальнейший путь Йозеф проделал без приключений, а на широкой деревенской улице ему повстречался тот, кто, как он думал, обретается на постоялом дворе «Красный дом», — Вирзих.

— Вы опять здесь?

Они пожали друг другу руки. Вид у Вирзиха был вполне довольный, будто он вот только что получил радостное известие. Он сообщил, что его взяли на работу, а именно в колониальную торговлю «Бахман и К°». По совету Йозефа, он заготовил письма-прощения и, набив ими карманы, двинулся в путь, из одной фирмы в другую, и действительно, почти везде он встретил добрый прием; правда, работы для него нигде не было, до тех пор пока он не зашел к «Бахману и К°», там-то все и завершилось к его полнейшему удовольствию. И теперь после долгого перерыва он наконец-то вновь может почувствовать себя человеком. Во всяком случае, может сказать: «Здравствуй, дружище, видишь — у меня все хорошо».

— Не худо бы зайти вместе в ближайший трактир и выпить по рюмочке, а? — предложил Вирзих.

— Конечно. С радостью. Но послушайте, Вирзих, а вам это не повредит? — спросил Йозеф.

— Да что вы, ясное дело, нет, — заверил тот.

И они направили свои стопы в находившийся неподалеку ресторан «Централь», где заказали по кружке пива.

— А то, может, лучше и не надо. Жаль было бы вашего нового положения, — счел необходимым добавить Йозеф.

Вирзих смеясь махнул рукой. У него-де и в мыслях нет вновь начинать этак безоглядно пьяниствовать, как раньше. Теперь, сдается ему, он себя от этого раз навсегда отучил, не совсем ведь пропащий... Как дела у Тоблеров?

— Неважно, — ответил помощник и коротко рассказал об упадке семейства. Только пусть Вирзих остерегается распускать язык, это деловые секреты, а они никого не касаются.

— Выходит, — сказал Вирзих, — я все же умудрился напророчить этому зазнайке Тоблеру, что в один прекрасный день он вылетит из своей чванливой усадьбы. Вещие слова я сказал в ту ночь. Отоляются ему чужие слезы. И поделом! Мы-то что, не люди? Разве мы, служащие, родились на свет бесчувственными чурбанами? Однажды вечером нас попросту вышвыривают за дверь, выбрасывают из жизни, да еще свято верят, будто поступили справедливо и мягко. Пардон, Марти, вы мой преемник и вследствие моего падения, как вы сказали, живете припеваючи. Конечно, не ваша вина, что вы перебежали мне дорогу... Ой, что я говорю! Ведь именно благодаря вам я нашел новое место. Простите великодушно! Я просто имею в виду, не хочешь да разозлишься, когда так долго видишь себя в тисках жесточайшего унижения. А из-за чего? Из-за какой-то ошибки! Черт побери, я таки выпью еще пивка. Эй, хозяин, или лучше вы, хозяйка, нацедите-ка мне новую кружечку! А вы, Марти, тоже ведь не откажетесь?

— Я только прошу вас, — сказал Йозеф, — прекратить нападки на патрона. И извольте говорить потише. Мой нынешний принципал отнюдь не зазнайка. Надеюсь, вы возьмете обратно это опрометчивое и, готов поверить, вырвавшееся в сердцах слово! Прошу вас, или между нами все кончено. Я не затем доверительно рассказал вам о положении Тоблера, чтобы выслушивать оскорблений по адресу этого человека... А что до всего остального — ваше здоровье! Рад, что у вас все хорошо.

— Я ж и говорю, со злости, — извинился Вирзих.

— Недоразумение исчерпано, — подытожил Йозеф.

Оба выпили по третьей кружке, потом по четвертой. Этим дело бы и кончилось, если б дверь не открылась и в ресторан не вошел сам г-н Тоблер. Он весьма выразительно смерил пламенным взглядом обоих собутыльников.

При появлении хозяина Йозеф тотчас снял шляпу, которую до той поры ввязности своей снять не удосужился. Этого потребовала учтивость, равно как и тоблеровский взгляд. А вскоре помощник поднялся, потому что разговор с Вирзихом так и так заглох, громко попросил счет и двинулся к выходу. Однако инженер, взмахнув рукой, подозвал его к себе.

— Что ему тут надо, этому непутевому Вирзиху? — спросил Тоблер.

— О-о, Вирзих нашел работу, — ответил Йозеф. — Здесь, неподалеку, у «Бахмана и К°». С сегодняшнего дня. Он так рад.

— Да? И до сих пор не прочно выпить? Как же, очень долго он проработает на новом месте! Ну ладно. Вы были на почте?

— Нет, сейчас пойду. Надеюсь, вы извините. Задержался с Вирзихом. Я прямо сейчас и пойду, а если желаете, принесу корреспонденцию сюда...

Тоблер отрицательно покачал головой, и помощник удалился.

Вирзих тоже встал, расплатился, сделал несколько неуверенных шагов, не зная, то ли ему здороваться с прежним хозяином, то ли нет, но в конце концов все же поклонился, низко и смиленно, а в довершение всего налетел на стол и чуть не упал. В ответ на его почтительный поклон Тоблер даже не пошевелился: он «не желал иметь с этим человеком ничего общего». У порога Вирзих опять споткнулся. Уж не дурное ли это предзнаменование?

Г-жа Тоблер вернулась домой ночным скорым. Г-н Тоблер, Паулина и Йозеф ждали ее на станции. Громыхая и пыхтя, поезд остановился. Множество людей кинулись к длинному, черному, внушительному гиганту. Хозяйка вышла из вагона. Йозеф с Паулиной подбежали принять корзины и свертки. Мамаша Тоблер нагрузила невестку разными разностями; все так и предполагали, потому и пошли на станцию втроем. В обеих корзинах были яблоки и орехи, а в свертках — какие-то вещи для самой хозяйки и для детей.

По лицу прибывшей можно было прочесть, что дело сошло не хорошо и не плохо. Вид у нее был усталый и спокойный. И она как будто бы легонько, едва заметно, усмехалась. В целом она, кажется, снабдила мужа, который с любопытством расспрашивал ее, достаточными и удовлетворительными сведениями, так как Тоблеру загорелось еще разок наведаться в «Парусник». Жена сказала, что отлично видит, куда ему не терпится улизнуть, каковыми словами и дала надлежащее позволение. Он только еще крикнул вслед уходящим, что самое большее через час будет «Под вечерней звездой», и скрылся в своем излюбленном заведении.

Остальные пошли домой. Помощник с удовольствием нес корзины, хоть они и были тяжелыми. По крайней мере для разнообразия опять кой-какая «физическая» нагрузка. Он бодро шагал следом за женщинами — за прислугой и хозяйкой, не думая ни о чем. Да, эта бодрость явно от корзин. «Я прирожденный мальчик на побегушках» подумалось ему.

Дома на них градом посыпались вопросы, рожденные детской любознательностью. И началась осада корзин с фруктами и свертков. Что говорила про них бабушка? — наперебой допытывались трое детишек. Но не четвертый. Сильви по-прежнему была сонной и безразличной. И подарки тоже оставили девочку равнодушной. «Меня это не трогает» — было написано на ее лице. Тем сильнее трогало это остальную троицу.

Вскоре, однако, всех вкупе с их требованиями, вопросами и любопытством отослали спать.

— Как же я устала, — сказала г-жа Тоблер.

Паулина опустилась перед хозяйкой на корточки и сняла с нее ботинки. Г-жа Тоблер сидела на кушетке, а Йозеф, стоя рядом, думал: «Признаться, я бы не возражал, если б она мне сказала: сними с меня ботинки! Уж я бы с радостью нагнулся».

Она уронила перчатку, Йозеф поспешил ее поднять.

Г-жа Тоблер подарила его бледной улыбкой и с благодарностью заметила:

— Какой вы услужливый! А ведь так было не всегда. Надеюсь, мой муж скоро вернется?.. Как ваши-то дела, Йозеф?

— Очень, очень хорошо, — ответил он.

Паулина давно вышла из комнаты.

— Вы просто еще молоды, вот и говорите так, да, наверное, вам иначе и нельзя, — сказала она. — А у меня такая тяжесть на душе.

— У вас неприятности?

Да не без того. Но эта маленькая неприятность ее мало трогает. Нынче ее одолевают всякие мысли. Может, Йозеф сыграет с нею в ясс? Да? Очень мило. Как раз сейчас ей ужасно хочется поиграть в карты. Наверно, это пойдет ей на пользу.

Они уселись за стол и начали игру. Паулина накрыла для г-жи Тоблер легкий ужин и опять ушла. «Возможно, эта женщина склонна к легкомыслию и в то же время к меланхолии. Вполне возможно. А я, между прочим, дурак!» — думал помощник.

— Старуха не очень-то расположена давать деньги, — обронила посреди игры г-жа Тоблер.

— Кто? Ах да! Мамаша Тоблер. Охотно верю. Но придется ей раскошелиться.

— Вот именно, — поддакнула г-жа Тоблер.

Оба засмеялись. «Опять легкомыслie», — подумал счетовод и письмоводитель технического бюро К. Тоблера. Н-да, фирма... В конце концов, он и правда человек солидный. Вот они вновь сидят вдвоем — она, «непостижимая женщина», и он, «забавный человек». Йозеф невольно издал громкий смешок.

— Что с вами?

— О, ничего! Глупости.

Она стала серьезной: надо полагать, он смеется не над нею? На что Йозеф заметил, что является все же служащим фирмы, а хозяйка вставила: мол, она тешит себя надеждой, что он впрямь чувствует себя таковым. Вздрогнув, он бросил на стол карты и сказал, что у серьезного и солидного служащего нет привычки夜里 напролет резаться в карты. Засим он встал и, ожидая, что она окликнет его, пошел к двери. Но г-жа Тоблер дала ему уйти.

Йозеф не стал подниматься к себе, а спустился в контору, зажег лампу, сел за свой стол и написал управляющему посредническим бюро.

Милостивый государь!

Покорнейше прошу Вас не оставить без внимания мою скромную персону, буде Вам подвернется подходящая для меня вакансия. Я не испытываю ни малейшего желания вновь сидеть без работы, а такая опасность существует. Ситуация у нас тут, г-н управляющий, день ото дня ухудшается. Поэтому на всякий случай имейте меня в виду.

Остаюсь

искренне преданный Вам Йозеф Марти.

Не успел он сунуть письмо в конверт и надписать адрес, как в саду послышались шаги. А полминуты спустя в контору вошли г-н Тоблер и еще двое мужчин, очевидно завсегдатаев «Парусника». Они громко переговаривались, смеялись и, судя по всему, были полны хмельного задора.

Что это у Йозефа за дела в такую поздноту? — нетвердым голосом осведомился Тоблер. Ну, по крайней мере, у него как будто бы и впрямь прилежный и самоотверженный помощник, заметил он далее, оборотясь с улыбкой к своим карточным партнерам. Но теперь Йозефу пора закругляться, завтра тоже день будет. С этими словами инженер подошел к двери, которая вела на жилую половину, и во все горло рявкнул: — Паулина!

— Да, господин Тоблер! — послышалось сверху. — Принесите-ка в контору парочку бутылок рейнвейна! Да побыстрее!

Йозеф коротко пожелал вновь пришедшим спокойной ночи и ушел к себе, но вполне мог бы и не прощаться: они и думать про него забыли, у них было совсем другое на уме. Троица расселась, верней, чуть не разлеглась на чертежном столе, толком не разбиная, куда ее занесло. Ноги свои они водрузили на стулья, а хмельные и сонные головы то и дело приходили в теснейшее соприкосновение с чертежными набросками Тоблера. Сам Тоблер, с трудом удерживая равновесие, набил свою трубку, а когда наконец появилось вино, очень старательно и очень неуклюже наполнил бокалы, после чего началась попойка вперемежку с храпом и протяжными зевками. Инженер, сохранивший покуда малую толику здравого смысла, внезапно решил употребить ее на то, чтобы разъяснить друзьям-собутыльникам суть своих изобретений; но его затея была встречена хохотом и полнейшим непониманием. Серьезный мужской взгляд на мир валялся под ногами — вместе с брошенным на пол разбитым, расплескавшим свое содержимое бокалом вина.

Мужской и человеческий рассудок горланил и орал так, что стены дома прямо ходуном ходили. Вдобавок ко всему, что он тут учинил, Тоблер весьма бес tactno вознамерился громким голосом кликнуть в контору жену, чтоб, как он объявил, познакомить ее со своими друзьями. Она спустилась вниз, правда не вошла, а только приоткрыла дверь и заглянула в комнату, но тотчас исчезла опять, отшатнувшись в испуге, как она наутро сказала мужу, от мерзостной и гадкой картины, которая открылась ее глазам и которую даже голландский художник-жанрист, мастер по части изображения хмельных компаний, не смог бы нарисовать убедительней и ужасней, чем она была наяву. С исчезновением г-жи Тоблер попойка отнюдь не завершилась, наоборот, пир шел горой до утра и до изнеможения, того полнейшего изнеможения, какое в конце концов одолевает и самого крепкого гуляку, валя его под стол. Так случилось и на сей раз, и разгульная бражка с жутким храпом дрыхла в техническом бюро до тех пор, пока Паулина не пришла затапливать печь. На дворе уже стоял белый день. Приятели проснулись. Бэренсвильцы поплелись назад в деревню, к своим пенатам, а г-н Тоблер отправился наверх, в спальню, чтобы сном разогнать хмель и бурю.

Паулине воистину пришлось попотеть, приводя в маломальский порядок разоренную и обезображенную контору. Когда Йозеф в восемь утра спустился вниз, обстановка там была еще довольно неприглядная, поэтому он решил сперва сходить на почту. Все валялось вперемешку — столы, эскизы, чертежные и письменные принадлежности, рюмки и пробки, кругом разлитые чернила, красные и черные. Под ногами лужи вина, бутылка с отбитым горлышком. Впечатление было такое, словно тут не цивилизованные люди хозяйничали, а орда дикарей; вонь наполняла помещение, — кажется, дней десять кряду надо держать окно распахнутым настежь, тогда только комната опять станет уютной, чистой и примет жилой вид.

На почте Йозеф опустил в ящик письмо управляющему. «На всякий случай», — подумал он.

А на следующий день семейство Тоблер получило четыре тысячи франков из родительского состояния. Немного, но все же таки кое-что, как раз хватит, чтобы угомонить самых нетерпеливых и буйных заимодавцев. Йозеф давно подготовил список кредиторов, и теперь на этой пестрой клумбе выискали наиболее запашистые цветы, чтобы хоть на время приглушить их «аромат». Среди этих хищных, ослепительно ярких растений был и садовод, который твердил, что не успокоится, пока у Тоблера не опишут имущество и с позором не выгонят его из дома, и электростанция, которая с такой издевкой пожала плечами и отключила свет, и сосед-слесарь, этот, по словам Тоблера, «неблагодарный пес», которому по всей справедливости «надо было швырнуть деньги в морду», и мясник — но отныне чтоб «ни кусочка мяса из этой паршивой лавки!», и переплетчик, «старый верблюд», пусть радуется, что... И так далее. И часовщики, на которых «в общем-то не стоит чересчур обижаться», и владелец завода металлических изделий, который соорудил медную башенку и прислал счет, и некоторые другие люди, «вполне заслужившие денег».

Всего каких-то полдня, и Тоблер заткнул пасть самым громогласным и беспардонным приставалам, но и деньги тоже исчезли. Что значит четыре тысячи франков для семьи, по уши погрязшей в долгах?! Небольшой остаток суммы был отдан на хозяйство, а еще меньший вручен Йозефу в качестве аванса.

Утро выдалось солнечное, снежное, с голубым небом, ветерком и талой жижей под рогами. И в такой вот день помощник ходил по домам, выплачивая долги. Заглянул он и к взыщику. А деньги таяли, да как быстро — он чувствовал это, ведь карман пиджака становился все легче и легче.

К вечеру пришло письмо от адвоката Бинча, сообщавшего, что от старой г-жи Тоблер ждать больше нечего. Он сделал все, что мог, стараясь убедить ее, но, к превеликому сожалению, старания его успехом не увенчались. Поэтому он советует Тоблеру философски отнестись к последствиям этой неудачи.

Читая письмо, Тоблер болезненно скрипился, пытаясь обуздить неистовую ярость. Но тщетно — словно раздавленный непосильным бременем, он рухнул на стул. Из его мощной груди исторгся хрип, она грозила разорваться, как перетянутый лук. Голова поникла, точно придавленная книзу чьими-то кулаками. На затылок, казалось, тяжко напирали неподъемные, злобно пыхтящие гиры, живые гиры. Лицо инженера налилось кровью. Весь воздух вокруг него как бы уплотнился и окаменел, а рядом с Тоблером поднялась какая-то незримо-зримая фигура и добродушно, но холодно похлопывала его по дрожащему плечу. Сама железная необходимость, казалось, шептала ему: «Человек! Испробуй последнее средство!»

Тоблер неловко поднял шторку своего американского секретера, охая и сутуясь как от боли, взял в руки перо, лист бумаги и сел писать письмо матери. Но буквы, которые он писал, прыгали у него перед глазами. От его порывистых, сумбурных движений крышка захлопнулась, секретер отлетел вбок — Тоблер бросил писать. Задыхающимся голосом сказал Йозефу:

— Позвоните Бинчу и договоритесь, когда он сможет встретиться со мной. Скажите, дело не терпит отлагательства.

Йозеф тотчас же исполнил приказание. Он был возбужден, говорил, пожалуй, не очень вразумительно, и, вполне возможно, понимали его плохо, — словом, прошло довольно много времени, прежде чем его соединили с доктором Бинчем. Тоблер поднялся наверх следом за помощником и теперь стоял у него за спиной, а помощник в присутствии нервозного хозяина и наставника еще больше сконфузился и, когда его наконец соединили с адвокатом, повел разговор запинаясь и крайне бесполково, не в силах объяснить что к чему.

Этого Тоблер вынести не мог. С яростным воплем он отшвырнул незадачливого порученца в сторону, так что бедняга врезался в дверной косяк, и сам схватил трубку,

чтобы довести до конца злосчастный разговор и собственными ушами услыхать нужные сведения.

Ярость инженера улеглась, однако он сильно дрожал всем телом. У него поднялась температура — пришлось лечь на кушетку, ту самую, которую совсем недавно занимала Дора.

— Папа заболел? — спросила девчушка.

Г-жа Тоблер — встревоженная, она стояла возле стонущего мужа — ответила:

— Да, детка, заболел. Йозеф его расстроил. — И она скользнула по помощнику удивленным и презрительным взглядом, который прогнал горемыку вниз, в контору. Добравшись до своего стола, он попытался работать, будто ничего не произошло, но где там — он не работал, а беспомощно тыкался туда-сюда дрожащими, неловкими пальцами, старался сохранить присутствие духа и не мог. Какая же это работа — это совсем другое, черное, без названия. Сердце его готово было разорваться.

Потом его позвали пить кофе. Тоблер между тем ушел в спальню. Встреча с адвокатом была назначена только на завтра, а до тех пор — со всей видимостью и очевидностью — делать инженеру было совершенно нечего. Что полезного он мог бы теперь предпринять? Какой план был бы достаточно серьезен, а не смешон? К тому же болезнь! Затравленному человеку так приятно подумать, что вот он лежит в постели и может спокойно проваляться до завтрашнего утра. Он велел сказать Йозефу, чтобы тот, если пойдет на почту, принес для него несколько сигар.

— А для Доры апельсинов, — добавила г-жа Тоблер.

Йозеф все поручения выполнил.

После ужина, когда детей уже отослали спать, Йозеф сказал г-же Тоблер, что едва ли может оставаться в доме, хозяин которого мало того что не раз оскорблял его словесно, так теперь еще и руки распускает. Это уж чересчур, и, по его мнению, лучше всего будет, если он прямо сейчас поднимется к Тоблеру и выскажет этому человеку, сколь грубы и вздорны его поступки. Работать Йозеф более не в состоянии, он это ясно чувствует. Тот, кого пишут и швыряют об двери, навряд ли способен приносить пользу. Он наверняка самый настоящий турица и бездельник, ведь иначе бы с ним не обращались так, как это имело место. У него просто нет слов. Пусть даже он только и знай что был тут баклуши, это ведь далеко не оправдывает физическое надругательство. Тем более что он всегда старался. Разве нет? Самому ему, во всяком случае, известно, что иной раз он работал с любовью и охотой, не жалея сил, хотя силы эти, надо признать, не всегда могли соперничать с хозяйствскими требованиями. Выходит, такова плата за старания быть и оставаться честным и прилежным?!

Йозеф заплакал.

— Мой муж болен, как вы знаете, — холодно произнесла г-жа Тоблер, — и тревожить его не желательно. Но если вам угодно и если вы полагаете, что так вот вдруг не в силах более оставаться у нас, — пожалуйста, идите наверх и выскажите ему, что у вас на душе. Думаю, ответ будет краток и воздаст по заслугам как вам, так и вашим поступкам.

Помощник минуту-другую не двигался с места. Потом встал.

— Я еще успею сходить на почту.

— Значит, наверх вы не пойдете?

Нет, сказал Йозеф, раз г-н Тоблер болен, он не станет его тревожить. И вообще, ему теперь хочется пройтись.

За дверью его встретил ясный, холодный мир. Вроде как высокие-высокие своды. Подморозило. Ноги спотыкались о камни и ледышки. Студеный ветер раскачивал деревья. Сквозь кружево сучьев и ветвей мерцали звезды. В сердце у Йозефа кипела обида, он летел как угорелый. Нет, уходить ему вовсе не хочется. Его охватил страх: а вдруг г-жа Тоблер тем временем выболтает все мужу? Эта мысль заставила помощника еще ускорить шаги. Да и жалованье он тоже сполна не получил. Поэтому главное — оставаться пока в этом доме.

— Разве порядочно так на меня жаловаться?! — выкрикнул он во тьму зимней ночи. И решил по возвращении пасть перед г-жою Тоблер на колени и целовать ей руки.

Когда Йозеф вернулся, она еще была в гостиной. Осторожно затворяя дверь, он прямо с порога начал:

— Должен вам сказать, госпожа Тоблер, — как хорошо, что вы еще здесь! — я понимаю, что глубоко заблуждался, несправедливо обвиняя патрона. Я поступил опрометчиво и прошу вас простить меня. Я вел себя глупо, а господин Тоблер — его так ужасно расстроило это злосчастное письмо от адвоката! Вы уже были у вашего супруга? И конечно, уже рассказали ему?..

— Нет, я пока ничего не говорила, — ответила хозяйка.

— Очень рад! — сказал помощник и сел. — А я-то бежал сломя голову, боялся, вдруг вы ему все рассказали. Мне очень жаль, очень, ведь я бог знает чего наговорил. В расстроенных чувствах, сударыня, иной раз и лишнее вырвется. Я так рад, что вы еще не сказали ему.

— Вот это совсем другой разговор, — заметила г-жа Тоблер.

— Я даже хотел броситься вам в ноги и на коленях молить о прощении, — пробормотал помощник.

— Ах, это уж вовсе незачем, фу! — запротестовала она.

Они помолчали. Помощнику было хорошо и покойно. И почти по-домашнему уютно. А как часто он бродил, бывало, по людным и пустынным улочкам, и на сердце у него тяжким гнетом лежало холодное, злое одиночество. В юности он был не по годам стар. Сознание собственной бесприютности парализовало его и душило. А как чудесно делить с кем-нибудь ненависть и нетерпение, уныние и преданность, любовь и печаль. Волшебство человеческого тепла, тепла домашних очагов, каким щемящим восторгом наполняло оно душу Йозефа, когда он, одинокий и неприкаянный, стоял на холодной улице и навстречу ему из чьего-нибудь незатворенного окна струилось это волшебное тепло. Из таких окон веяло пасхой, рождеством, троицей или Новым годом, и сколь убогой казалась мысль о том, что тебе позволено насладиться лишь скромным, едва ощутимым отблеском этой извечной, дивной драгоценности! Эта замечательная привилегия обывателей-бюргеров! Эта доброта на лицах! Это мирное житье-бытье!

— Глупо вот так сразу считать себя обиженным, — сказал он.

— Что верно, то верно, — согласилась хозяйка, безмятежно продолжая вязать фуфаечку для Доры. И прибавила: — А разве мне, его жене, мало приходится терпеть и сносить от него? Он ведь хозяин в доме, а это положение ответственное, требующее от прочих членов семьи и домочадцев терпимости и уважения. Конечно, обижать людей нельзя, но разве он может постоянно держать себя в руках? Разве может сказать своему гневу: «будь благоразумен»? Гнев и вспыльчивость неблагоразумны, в том-то и дело. У нас, у остальных, есть перед господином Тоблером колоссальное преимущество — мы только подчиняемся его распоряжениям, на выработку которых он тратит огромные силы, и следуем его советам, мудрость которых нам почти всегда очевидна, а поэтому в минуты тревоги и ярости не надо попадаться ему под руку, только и всего. Пора бы нам усвоить, как с ним обходиться, ведь хозяин и повелитель требует особенного обхождения. От нас потребна ловкость и гибкость в те мгновения, когда он против обыкновения утрачивает покой и уверенность в себе, когда он не способен владеть собою так, как всегда. А раз уж мы оказались бес tactны и, учитывая наши обстоятельства, наделали кучу ошибок, то не стоит слишком обижаться, если он накричит и тем самым выместиет на нас всю безмерность своих забот и терзаний. Марти! Проверьте, я тоже частенько сердилась на человека, который сегодня обошелся с вами несправедливо, якобы оскорбил вас и недостойно унизил. Тут выход один — слегка урезонить свое достоинство и простить обиду, потому что... хозяину и начальнику должно прощать. Во что превратятся деловые начинания, финансовые предприятия, всякого рода сделки, что станется с торговыми домами и вообще с миром, если у законов вдруг отнимут право прижимать нашего брата, награждать его тычками и больно ранить? Неужели стоило целый год наслаждаться благом повиновения и подражания лишь затем, чтобы однажды днем или вечером учинить скандал и, бия себя кулаком в горделивую грудь, заявить: не оскорбляй меня!? Конечно, мы тут не для того, чтобы нас оскорбляли, но и не для того, чтобы давать повод для гнева. Смятение толкает на глупые поступки, так ведь не нарочно же! Вот и ярость буйствует не нарочно! И спрашивать с нее нечего. А кроме того, нельзя забывать, где мы

и что мы. Теперь-то я вами довольна, Йозеф. Дайте мне вашу руку! С вами можно договориться. Ну а сейчас пора спать.

Близилось рождество. Праздники, конечно, заглянут и к Тоблерам, ведь это нечто неизбежное, летучее, мысль, передавшаяся всем людям, пронизывавшая все ощущения, — так почему же она обойдет стороной виллу «Под вечерней звездой»? Быть этого не может. Раз уж есть на свете дом, да еще такой красивый, такой броский, как у Тоблеров, то нет никаких рациональных или стихийных оснований полагать, будто что-либо из существующего в этом почтенном и благоуханном мире может его не коснуться. И потом, еще вопрос, хочется ли Тоблерам, чтобы их это не коснулось.

Нет, они радовались праздникам! Пусть дела у него плохи, говорил Тоблер, однако ж он не считает, что из-за этого надо отказываться от рождественского веселья. Как бы не так!

Все вокруг, казалось, тоже по-своему радовалось чудесному празднику. Окрестный пейзаж спокойно и безмятежно кутался в пушистые снега и словно подставлял большие, широкие старицкие ладони, собирая все то, что непрестанно сыпалось с неба, а люди говорили: «Гляньте-ка! Все одевается белизной, весь мир забелился. Так и надо, ведь рождество!»

Скоро и озеро и горы укрылись толстым, плотным снежным ковром. Горячие головы уже слышали, как звенят бубенцы быстрых санок, хотя самих санок еще и в помине не было. Рождественские столы уже поджидали гостей, ибо весь край походил на застланный белой чистой скатертью рождественский стол. А каким покоем, какой мягкостью и теплом дышала природа! Звуки слышались приглушенно, точно все — молотки слесарей, балки у плотников, лопасти фабричных колес, пронзительные свистки паровозов — было обернуто ватой или толстой шерстяной тканью. Взгляд различал только близкие предметы, шагов на десять вперед; даль была скрыта непроницаемой снежной завесой, ее словно без устали замазывали серо-белой краской. Люди тоже шагали мимо белые, и на пять человек один непременно отряхивал с себя снег. Повсюду царил мир, и невольно чудилось, будто на весь свет низошло умиротворение, лад и покой.

И вот через этакое снежное волшебство Тоблер отправился поездом в город, чтобы один на один побеседовать с г-ном адвокатом Бинчем. Ехал он, кстати говоря, не в одиночку — рядом сидела жена, она собиралась закупить в столичных универсальных магазинах кое-какие подарки к наступающим праздникам.

Вечером — новая встреча на станции, только на этот раз кругом лежали сугробы и оттого настроение было чуть повеселей. Смех Паулины и радостный лай Лео оставляли в снегу темноватые пятна, хотя обыкновенно и смеху и лаю присуща светлая окраска, — но что сравнится яркостью и блеском со сверкающей снежной белизною? Йозеф и Паулина вновь нагрузились пакетами, а из вагона вышла дама в мехах, с виду настоящая добная рождественская фея, и тем не менее это была всего лишь г-жа Тоблер, жена дельца, притом разорившегося. Но она улыбалась, а улыбка способна превратить самую бедную и

беспомощную женщину чуть ли не в принцессу, так как улыбка всегда приводит на ум что-то высокочтимое и добропорядочное.

Снег удержался до знаменательного дня, так и лежал, чистый и плотный, ведь ночи были холодные, и белое покрывало стало хрустким от мороза. Рождественским вечером Йозеф опять поднялся на знакомую гору. Тропы светло-желтым и змейками вились по искристым белым полянам, ветви тысяч деревьев сверкали от инея — слишком уж прекрасное зрелище! Крестьянские дома среди этой пышной, изысканной белой роскоши походили на игрушки, созданные для услады детских глаз и для невинного ребяческого разумения. Вся округа словно поджидала благороднейшую из принцесс — так изящно она нарядилась. Будто девушка, робкая, слегка обидчивая, бесконечно хрупкая и нежная. Йозеф взобрался еще выше, и тут вдруг, редея, поднялась скрывавшая землю серая пелена, проколотая ярчайшей лазурью, и выглянуло солнце, теплое, как летом, — сказка да и только! Со всех сторон высились ели, гордые, мощные, отягощенные снегом, который подтаивал на солнце и падал с толстых лап.

Подкрадывалась ночь, и Йозеф вместе с нею спустился домой. В угловом салоне, куда почти никогда не заглядывали, сияла огнями рождественская елка. Г-жа Тоблер подвела к ней детей и показала им подарки. Получила свой подарок и Паулина, а Йозефу вручили ящичек сигар со словами, что, мол, подарок скромный, зато от чистого сердца. Тоблер старался, чтоб каждый чувствовал себя просто и уютно. Он курил привычную трубку и, прищурясь, глядел на сиявшую огнями елку. Г-жа Тоблер улыбалась и даже сказала несколько слов, весьма кстати, — например, как прелестна такая вот елочка. Правда, говорила она словно бы через силу. Праздник вообще не очень ладился, и особенно радостного благоговения в этой компании нечувствовалось, наоборот, все подернула дымка печали. Вдобавок в салоне было холодно, а рождественское веселье и холод несовместимы. Поэтому то один, то другой уходил в гостиную погреться, а потом вновь возвращался к елке. Любая рождественская елка по-своему хороша, и любая непременно трогает душу. Тоблеровская елка тоже была хороша, да только у людей, обступивших ее, не хватало сил, не могли они растрогаться надолго и глубоко, не могли взлететь на крыльях радости.

— Жаль, вы не видели — вот в прошлом году было рождество так рождество! — Ну-ка, выпейте вина, — сказал Тоблер помощнику, подталкивая его в теплую гостиную. Тот скрчил недовольную гримасу, будто расстроен из-за сигар, хотя сам толком не понимал, в чем дело.

— В нынешнем году, — со вздохом заметила хозяйка, — настроение совсем не праздничное.

Она робко предложила сыграть в карты: раз уж целый год играли, то и в рождественский вечер не грех, может, повеселей станет. Все охотно ухватились за эту мысль.

Свечи между тем догорели, елка потускнела. Детям еще полчасика разрешили поиграть с подарками, а затем отправили их спать. Атмосфера в рождественской гостиной мало-

помалу стала совершенно трактирной. Трое одиноких людей, сидя за картами, потягивали вино, курили сигары, грызли конфеты, но смех и поведение их растеряли всю восторженность и своеобразие, которые хоть как-то напоминали о празднике. И вели они себя весьма заурядно, и смеялись ничуть не по-праздничному. В настроении, охватившем игроков, не чувствовалось даже будничного уюта, ведь... как-никак было рождество, и возвыщенно-прекрасная идея его, пожалуй, нет-нет да и вспыхивала здесь, в гостиной, предостерегая на лету от того, что этак обесценивать и портить праздник — значит совершить большой грех.

Да, эти трое людей были одиноки, и самым одиноким был помощник, — он понимал, что прибрисался к дому, который медленно погибал, и не мог сказать, как г-н Тоблер, что в этом доме он вправе наводить свои порядки и вообще делать что в голову взбредет, ведь дом этот не был его собственным, и еще ему так хотелось по-настоящему встретить и отпраздновать рождество, раз уж он очутился в таком вот доме и в такой вот бюргерской семье, а в последние годы он привык думать, что, будучи лишен всего этого, очень много теряет, да и настроение у него было гораздо хуже, чем у остальных картежников, и он поневоле видел в этом огромную несправедливость.

«И это называется сочельник?» — думал он.

Хозяйка вдруг сказала, что все-таки не очень хорошо играть на рождество в карты. У них дома такого никогда не водилось. И вообще, это не дело — превращать нынешний вечер в кабацкую пирушку.

От этих слов г-н Тоблер насупился.

— Ну так кончим игру, и баста! — Он бросил карты на стол и воскликнул: — Верно, нехорошо заниматься этим в сочельник! Но что у нас тут за компания? Кто мы такие? Уже завтра ветер может вымести нас из дома. Конечно, где есть деньги, там есть и охота отмечать праздники, тем более рождество. Для этого нужно благополучие, счастье, успех и вообще, домашняя радость. А тот, кто три с лишним месяца надрывался сверх сил своих ради удачи жизненно важных начинаний и все без толку, — откуда же ему взять праздничное веселье? Мыслимое ли это дело? Прав я, Марти, или нет, а?

— Не совсем, господин Тоблер, — сказал помощник.

Наступило продолжительное молчание, и чем дольше оно длилось, тем труднее было осмелиться нарушить его. Тоблер хотел сказать что-то о часах-рекламе, хозяйка — о Доре, Йозеф — о рождестве, но ни один не проронил ни слова. Им будто зашнуровали рот. Как вдруг Тоблер выкрикнул:

— Да откройте же рот и скажите хоть что-нибудь! Тоска ведь! Лучше уж в трактир пойти.

— Я пошел спать, — сказал Йозеф и попрощался.

Остальные тоже скоро поднялись наверх, тем сочельник и закончился.

Новогодняя неделя прошла тихо и до странности задушевно; дела стояли на месте, работы почти не было, только приняли несколько раз в кабинете одного чудака, изобретшего какой-то мотор. Сей чудак — не то крестьянин, не то столичная штучка — заходил к Тоблеру чуть не каждый день, уговаривая инженера поддержать гениальное изобретение, эскизы которого он оставил в бюро. Все подсмеивались над этим человеком, к чьим проектам невозможно было отнести всерьез, но однажды за обедом Тоблер сказал:

— Зря смеешься! Он вовсе не дурак.

Увлеченность, с какой изобретатель мотора отстаивал и превозносил до небес свое детище, стала у Тоблеров притчей во языцах и неплохо развлекла их в эти тихие, лениво текущие дни.

Никакого систематического, законченного образования чудак не имел; с одной стороны, он рассуждал как юный фантазер от сохи, с другой же — его можно было счесть мошенником или ярмарочным балаганщиком, так как однажды он предложил г-ну Тоблеру возить свою машину по городам и селам и за деньги выставлять ее на всеобщее обозрение в тех местах, где обыкновенно скапливается народ. Ох и посмеялись же все над этой дикой затеей!

Итак, Тоблер снова должен был поддерживать как будто бы вполне одаренного человека, помогая ему стать на ноги, спасая талант от духовного прозябания и гибели в слесарной мастерской, — но сам-то он, Тоблер, с ним-то как обстояло и где были отзывчивые люди, готовые помочь ему?

— Все идут к нему, — говорила г-жа Тоблер, — все о нем вспоминают, когда ищут охотника помочь, все норовят поиметь выгоду от него и его общительной натуры, а он всем помогает. Таков уж он есть.

В эти дни помощник совершил близкие и дальние прогулки в холодные, однако же прекрасные зимние края. Были в этих прогулках дорожные колеи, о которые бились ноги, и застывшие в камень луга на горном склоне, и окоченевшие красные руки, которые отогревались дыханием. Навстречу ему попадались укутанные в теплые пальто люди, и ночь заставала его в незнакомых местах. Или, к примеру, был там каток на пруду в бывшем поместье парке — люди всех возрастов и обоего пола, звон коньков и стук падений, звуки и шорохи, типичные и обыденные для таких катков. Потом он вдруг вновь стоял перед тоблеровской виллой, глядел на нее снизу вверх и видел, как холодная луна завораживала дом, а полутемныеочные облака лежали вокруг словно гигантские скорбные, но милые женщины, как бы желая унести его в поднебесье, чтобы он чудесным образом растаял, растворился в вышине.

Дома же его встречала диковинная тишина; Сильви и той не было слышно. Добротели и изъяны тоблеровского дома как бы примирились друг с другом и безмолвно побратались. В гостиной, например, сидела в качалке хозяйка, рукодельничала или читала, а то держала на коленях Дору и ничего не делала.

— Помните, Марти, летом вы качали меня на качелях?! — сказала она как-то раз. Ей просто до невозможности тоскливо без сада. Господи, кажется, все было так — давно! Йозеф здесь уже полгода, а ей чудится, словно он тут гораздо дольше. Как же подобные моменты западают в душу!

Она посмотрела на лампу. Взглядом, который как бы вздыхал.

— Вам, Марти, вообще-то живется неплохо, куда лучше, чем моему мужу и мне, впрочем, обо мне даже говорить не стоит. Вы можете уехать отсюда. Просто соберете свои пожитки, сядете в поезд и поедете куда захотите. Вы повсюду найдете работу, вы ведь молоды, и, глядя на вас, сразу веришь, что вы человек прилежный, да так оно и есть. Вам не надо считаться ни с кем на свете, ни с чьей своеобычностью, ни с чими потребностями, никто не сманил вас отправиться куда глаза глядят, в неизвестность. Возможно, зачастую это горько, но, с другой стороны, какая красота, какая свобода! Если вам вздумается и если позволяют мелкие, не слишком стесняющие обстоятельства, то вы шагаете вперед, а в случае чего где-нибудь отдохнете — кто и что захочет и сможет вам помешать? Вероятно, порою вы несчастливы, но ведь и все так, порой вас охватывает отчаяние, — но чью душу тяготы обходят стороной?! Вы ни к чему не привязаны, ничто вас не сковывает, ничем вы особенно не дорожите. От сознания такой свободы вам, наверно, иной раз до смерти охота побегать и попрыгать — что ж, ваше право. И здоровьем вас бог не обидел, и сердце у вас золотое, я наверное знаю, хотя вы частенько робели. Может быть, у меня неблагодарная натура. Все это время я имела возможность по-доброму, долго и спокойно разговаривать с вами, и, пожалуй, большая удача, что в наш дом попали именно вы... а я так часто обращалась с вами дурно...

— Госпожа Тоблер! — умоляюще воскликнул Йозеф.

Она остановила его и продолжала:

— Не перебивайте меня! С вашего разрешения, я воспользуюсь случаем и дам вам совет: когда вы уедете от нас...

— Но я же вовсе не уезжаю!

— ...уедете от нас и надумаете стать самостоятельным, начинайте по-другому, не как мой муж, а совсем, совсем по-другому. Главное — будьте хитрее.

— Я не умею хитрить, — сказал помощник.

— Выходит, так и будете всю жизнь работать на чужих?

— Не знаю. Будущее не очень-то меня волнует.

— Как бы то ни было, здесь вы могли кое-что увидеть и кое-что взять на заметку. Да и научились кой-чему, если не посчитали за труд смотреть в оба, а насколько я вас знаю, именно так оно и есть. У вас теперь больше опыта, знаний и чувства долга, и когда-нибудь

вы непременно сумеете этим воспользоваться. Что греха таить, бывало, и рот вам затыкали, и хамили, правда? В общем, доставалось вам ой-ой как! Но это было необходимо! Стоит мне подумать... ах, Йозеф, у меня попросту предчувствие, что скоро, очень скоро вы нас покинете. Нет-нет, не надо ничего говорить. Молчите. Ведь несколько дней у нас еще осталось, верно? Как вы считаете?

— Да, — выдавил он из себя. На большее он был сейчас не способен.

На следующий день Йозеф отоспал полученный в подарок на рождество ящичек сигар своему отцу, присовокупив к посылке такое письмо:

Дорогой отец!

Прими от меня маленький новогодний подарок. Сигары я получил на рождество от моего нынешнего хозяина. Они наверняка придутся тебе по вкусу, это хорошие сигары, я, как видишь, выкурил парочку для пробы, ведь двух сигар здесь недостает. В голове у меня нынче полный ералаш, вот я и надумал сравнить эти две недостающие сигары с двумя изъянами, которые присущи моему характеру, а потому как-то особенно четко осознал, что, во-первых, совсем тебе не пишу, а во-вторых, настолько беден, что не имею возможности посыпать тебе деньги. Над такими изъянами впору слезы проливать, но для меня и это непомерная роскошь. Как твои дела? Я убежден, что сын из меня хуже некуда, но столь же неколебимо я уверен и в другом: если б имело смысл писать безрадостные письма, я был бы хорошим сыном. Мне всегда казалось, что с жизнью надо сражаться в честном бою, а эта жизнь ни разу не давала мне случая потрафить тебе. Прощай, дорогой папа! Не хворай, не теряй аппетита. Счастливо начни новый год. Я попробую сделать то же самое.

Твой сын Йозеф.

«Он уже в преклонном возрасте, — подумал помощник, — а до сих пор трудится».

В результате личных переговоров между Тоблером и Бинчем мамаше Тоблер было направлено энергичное письмо; но в ответ решительная старая дама сообщила, что доля наследства, на которую претендует ее сын, практически полностью исчерпана; больше того, она сама — в ее-то годы! — вынуждена ломать голову над тем, как бы на старости лет свести концы с концами, а потому о дальнейших выплатах Карлу Тоблеру вообще не может быть и речи. Этому человеку — так и хочется сказать: к сожалению, ее сыну — придется пожинать закономерные плоды собственной неосторожности и опрометчивости. В тех предприятиях, на какие он выбросил свое состояние, она не усматривает ни малейшей выгоды и рентабельности. Пусть любезный сынок продаст свою виллу, пора ему вновь привыкать к скромной жизни, которая заставит его честно трудиться, как трудятся другие люди. Для него же лучше, если он побарахтается в той каше, которую сам заварил, — глядишь, и извлечет урок из неурядиц, в каких очутился по собственной вине. А на нее, на мать, рассчитывать больше нечего.

Прочитав полученную от адвоката копию материнского письма, Тоблер пришел в неописуемую ярость. Он бесновался как дикий зверь, выкрикивал по адресу матери несусветные проклятия, причем так, будто она была тут же рядом, и в конце концов опять рухнул без сил, сломленный и разбитый.

Случилось это в последний день старого года, в техническом бюро, где уже неоднократно происходили до неприличия разнузданные сцены. И Йозеф волей-неволей опять наблюдал всю эту унизительную беспомощность. Он бы с превеликим удовольствием сию же минуту удрал, и навсегда, но подумал, что «спешить пока незачем», и остался. Жалея Тоблера, он презирал его и одновременно боялся. Премерзкие ощущения, все три, и каждое столь же естественно, сколь и несправедливо. Но что, что именно побуждало его оставаться на службе у этого человека? Невыплаченное жалованье? Да, конечно. Только и кое-что еще, многое более важное: он всем сердцем любил инженера. Чистота и искренность этого одного чувства позволяли забыть грязные пятна трех других. Как раз по милости этого одного чувства те, другие, и существовали почти с самого начала, день ото дня набирая яркости. Ведь с тем, что любишь, к чему питаешь привязанность и испытываешь влечение, — с тем больше всего и мучаешься, затеваешь ссоры, многое в нем тебе не по нраву, ибо слишком уж велика твоя тяга к нему.

Этот последний день уходящего года выдался на диво мягким. Зимняя природа как бы таяла, исходя тихими счастливыми слезами, — снег и лед бойкими теплыми ручьями бежали в озеро по откосам и холмам. Все шумело и курилось паром, будто в череду зимних дней ненароком замешался весенний денек. Столько солнца! Прямо как в мае! Двойственные чувства — и приятные, и сильно ранящие — нынче особенно сильно разбушевались в груди помощника, а чудесная погода взбудоражила их еще больше, наполняя душу Йозефа успокоением и тревогой, так что по пути на почту ему казалось, словно он в последний раз шагает этой красивой дорогой, под этими славными, знакомыми деревьями, мимо всех этих живых и неживых предметов, которые одинаково радовали глаз зимою и летом.

Йозеф зашел к «Бахману и К°» спросить о Вирзихе — он не видел его уже дней десять и хотел предложить ему вместе встретить Новый год.

Вирзих? Его здесь давно уже нет. Было просто немыслимо держать на службе этого субъекта. Он же день-деньской ходил пьяный.

Йозеф извинился и вышел из лавки. «Возможно ли?» — думал он, медленно шагая к почте. В ящике лежала новогодняя открытка от его бывшей квартирной хозяйки г-жи Вайс: добрая женщина желала ему счастья и успехов. Он улыбнулся, запер ящик и отправился домой, на сей раз по проезжему тракту. Проходя мимо трактира «Роза», он бросил взгляд в окно и заметил Вирзиха, тот сидел за столом, с видом полнейшего отчаяния уронив голову на руку. Лицо у бедняги было бледное, как у мертвца, одежда грязная, взгляд безжизненный.

Йозеф вошел в трактир и подсел к своему предшественнику. Говорили они мало. Беда не любит многословия. Помощник изрядно выпил, как бы для того чтобы душой и рассудком приблизиться к товарищу, ведь он чувствовал, что на трезвую голову здесь толку не добьешься. Время шло, и мало-помалу он выяснил, как получилось, что Вирзиха опять прогнали с хорошей должности.

— Ну, Вирзих, а теперь идемте, нам надо прогуляться, — сказал Йозеф немного погодя.

Они расплатились. Более крепкий и решительный взял неуверенного и безутешного под руку. День уже клонился к вечеру, и вот они двинулись в путь — сперва напрямик, а дальше вверх по склону горы, через приветливые лужайки. Какая мягкость вокруг! Если бы с Йозефом была девочка, девушка или прекрасная дама, он бы с таким удовольствием поболтал с нею, перекинулся веселой шуткой! Глядишь, и поцеловался бы украдкой. К примеру, на лавочке в горной пещере. А как бы хорошо было поговорить, скажем, с братом либо с тем же Вирзихом, будь он солидный, многоопытный, добродушный, пожилой господин. И посмеялись бы, и побеседовали, серьезно, однако ж спокойно. Но стоило посмотреть на Вирзиха, и душа закипала злостью и гневом на земные обстоятельства и судьбы, ибо Вирзих являл собою отнюдь не приятное зрелище.

Йозеф вспомнил о Тоблерах, и у него слегка екнуло сердце. Как же это он без разрешения чуть ли не на полдня сбежал из дома, забросил дела! Он осыпал себя жестокими упреками.

И вместе с тем на душе у него было прямо-таки благостно. Вся природа вокруг словно бы молилась, ласково, восторженно, всеми своими неяркими, приглушенными красками. Зелень лугов смеялась из-под снега, а снег от солнца истаял и лежал белыми пятнышками и островками. Смеркалось, и теперь Йозефу даже в голову бы не пришло жалеть, что он отправился на прогулку именно с Вирзихом.

Наоборот! Он чувствовал, что поступил правильно. Этого горемыку нельзя было оставлять одного. И теперь облик пьяницы почему-то отлично вписывался в пейзаж и в вечерние сумерки. В домах уже вспыхивали огни, глаз уже не различал красок, только мягкие размытые очертания, а они с Вирзихом шагали домой, и странное дело — оба не сговариваясь повернули к дому Тоблера.

Самого Тоблера дома не оказалось. Хозяйка сидела в гостиной, без света, совсем одна; лампу она еще не зажигала, а Паулина и дети гуляли на улице. Г-жа Тоблер испугалась внезапного появления двух вечерних визитеров, но быстро взяла себя в руки, зажгла свет и спросила у Йозефа, почему он не приходил сегодня обедать. Тоблер очень на это рассердился, и она опасается новых неприятностей.

— Добрый вечер, Вирзих, — сказала она Йозефову спутнику, протягивая ему руку. — Как поживаете?

— Так... так себе! — пробормотал тот.

— Госпожа Тоблер, — перебил Йозеф, — вы не позволите моему товарищу переночевать сегодня у меня в башне? Как я понимаю, он толком не представляет себе, где ему ночевать — разве что внизу, в «Розе». Но я приложу все старания, чтобы не дать ему заночевать там. Вирзих только что вновь остался без места, по собственной вине, он сам знает. Жалованье свое он пропил. И если теперь утопится в озере, то совершил таким образом поступок, о котором люди обеспеченные не задумываясь пожмут плечами, но сам по себе ужасный и непоправимый. Он пьяница, и спасти его едва ли возможно, я говорю об этом здесь, вслух, чтобы вы, Вирзих, тоже слышали, ибо с такими натурами, как он, деликатничать нельзя, потому что твердости в них уже вовсе не осталось. Но сегодня погибать ему не обязательно, и что до меня, то я ничтоже сумнящееся ввожу его как лучшего моего друга и товарища в дом, где служу и обитаю. Теперь мы с ним ненадолго уйдем, потому что сегодня, под Новый год, глупо сидеть в четырех стенах и под сухую дохнуть от скуки. Наоборот, я намерен спокойно и благообразно до утра кутить с моим предшественником, ведь нынче так делают все, кто полагает, что им это по карману. Потом мы с Вирзихом вернемся сюда, и он здесь переночует, как бы господин Тоблер к этому ни отнесся — хорошо ли, плохо ли. Я хотел предупредить вас заранее, сударыня. Многое, что волновало меня все это время, теперь, когда я насмотрелся на беду моего товарища, не встречает отклика в моем сердце, я совершенно спокоен. У меня хватает духу глубоко, и беззаботно, и тепло посмотреть в глаза грядущей жизни. Я искренне доверяю своим малым силам, а это гораздо лучше, чем если бы сил у меня было вагон, а способностей — полный амбар и я все же таки не доверял им или о них не подозревал. Доброй ночи, госпожа Тоблер, спасибо вам, что вы были так добры выслушать меня!

Г-жа Тоблер пожелала обоим доброй ночи. В эту минуту с улицы вернулись дети.

— Вирзих! Вирзих пришел! — с неподдельной радостью, весело загалдели они.

Пришлось ему поздороваться с каждым за руку, и у всех, кто был при этом, возникло странное впечатление, будто Вирзих вновь становится членом семьи Тоблер, вернее, будто он, хоть и отсутствовал, но оставался неотъемлемой частицей этого дома, просто выходил в другую комнату, зачитался там непомерно сумасбродной книгой и отлучка его длилась только лишь час или два, — так преобразила и украсила его ребячья радость.

Тут и хозяйка, которая хотела было придать своему лицу суровое, холодное выражение, вновь оживилась и повеселела, а когда Йозеф с Вирзихом вышли в сад, сказала вдогонку обоим, чтобы они знали меру и не хватили через край со своими возлияниями. И переночевать здесь, в доме, Вирзих, конечно же, может, это само собой разумеется. Она замолвил мужу словечко, чтоб не было шума.

— Доброй ночи, госпожа Тоблер, до свидания, Дора, до свидания, Вальтер! — крикнул из темноты Йозеф.

Внизу в своем домишке напевал обходчик. Мягкий мужской голос был как-то очень под стать теплой, ласковой ночи. Песня звучала так ровно, так размеренно, что невольно думалось, будто она намерена звучать до конца старого года и влиться в новый.

Йозеф Марти и Вирзих медленно шагали по тракту в деревню.

Чем эти новогодние друзья-приятели занимались там ночью, какие злачные места посетили, сколько выпили, о чем толковали, — если все это подробно описывать, важное и существенное разом обернется пустяковым и незначительным. Говорили они о том, о чем обычно беседуют коллеги, и занимались тем, чем принято заниматься в новогоднюю ночь, — предавались неспешному, но тем более приятному и тем более сознательному пьянству. В одном из многочисленных бэренсвильских ресторанов они мельком видели Тоблера, который сидел там с друзьями и рассуждал, как ни странно, о религии. Йозеф слышал — насколько еще мог расслышать, — как его патрон выкрикнул, что-де воспитывает детей согласно заповедям религии, сам же он ни во что не верит: это проходит, когда становишься мужчиной. Обоих своих сотрудников, нынешнего и прежнего, инженер в пылу речи проигнорировал.

В полночь начали бить колокола, знаменуя своим гулом и звоном приход Нового года. У пристани выступал деревенский оркестр, то подыгрывая хорам мужского певческого общества, то исполняя инструментальные пьесы. Множество людей собралось вокруг, при свете факелов внимая ночному концерту. Йозеф заметил среди зрителей и слушателей страхового агента, который был в хороших отношениях с Тоблером, и оголтелого садовода, злейшего врага технических новшеств.

У трактирщиков и рестораторов дела в эту ночь шли великолепно, куда лучше обычного. Иной из тех, кто весь год хлестал пиво, заказывал нынче бутылочку доброго вина. Люди позволяли себе такое, чего в другое время совершенно не могли себе позволить, а от этого счета были роскошные, солидные, и оплачивались они наличными, притом без задержки.

Г-жа Тоблер в сопровождении Паулины тоже пришла послушать музыку, тихая и застенчивая, не в пример некоторым нахальным дамам, которые были на верху блаженства, оттого что их взгляды смущали инженершу. Сегодня она была одинока, малопочтенна, малопопулярна — но она терпела.

Утром следующего дня в башенной комнатке пробудились двое еще не выспавшихся людей. На дворе было уже светлым-светло, часов одиннадцать — полдвенадцатого, почти полдень. Марти и Вирзих поспешили оделись и спустились вниз. Г-на Тоблера они застали в кабинете. Когда тот увидел опоздавшего помощника и незваного гостя, гнев его не ведал границ. Он едва не поколотил Йозефа.

— Мало того, — кричал он, — что вы вчера без спросу, молчком болтались где-то целый день и всю ночь, так у вас еще хватает наглости и сегодня полдня дрыхнуть и не появляться в кабинете! Это просто неслыханно! Согласен, вполне возможно, что делать тут сегодня особенно нечего, но вдруг кто-нибудь зайдет по делу, и хорошенько же у него будет впечатление, когда прислуга сообщит ему, что прохвост-помощник еще изволит почивать! Молчите! Скажите спасибо, что я не надавал вам по шее, как вы того заслуживаете. И у вас еще хватает нахальства появляться в обществе человека, который, если сию же минуту не уберется отсюда на веки вечные, как я требую, услышит кое-что

другое, и куда более откровенное! Нет, вы только посмотрите — он и ухом не ведет! Такое спокойствие прилично, знаете ли, какому-нибудь висельнику, но уж никак не сотруднику моей фирмы, которому положено чувствовать себя виноватым. Фирма есть фирма, к тому же это моя фирма, и хоть она и находится в стесненных обстоятельствах, я никому не позволю выставлять меня дураком и мальчишкой, тем паче собственному служащему, которому я плачу жалованье, чтоб он мог существовать. Садитесь и приступайте к работе! Пишите! Попробуем в последний раз с часами-рекламой. Ну, берите ручку.

— Выплатите мне остаток обещанного жалованья! — произнес помощник с совершенно оскорбительной невозмутимостью.

Он толком не понимал, что говорит, но четко сознавал: иначе нельзя. Он бы не смог взять в руки перо — так его колотило; потому-то он непроизвольно сказал то, что обеспечивало самую твердую возможность покончить со всем этим.

Тоблер совершенно осатанел:

— А ну, убирайтесь вон! Сию минуту! Вон! К моим врагам! Я в вас больше не нуждаюсь.

Он осыпал Йозефа оскорблениеми, сперва очень резкими, потом все более вялыми, пока ярость полностью не уступила место боли и жалобам. Йозеф по-прежнему стоял посреди комнаты. Ему казалось, будто он обязан сочувствовать всему свету, в том числе немножко себе, но гораздо больше и от души — всему окружающему. Вирзих давно счел за благо уйти в сад. Собака встретила его как старого знакомого и весело завиляла хвостом. Г-жа Тоблер между тем стояла в гостионе у окна и напряженно прислушивалась — кое-что, видимо, долетало до нее сквозь стены и перекрытия. Взгляд же ее наблюдал за прежним помощником, который гулял в саду.

— Ладно, я напишу вам эти письма, господин Тоблер, но потом уйду, — донеслось от письменного стола.

— Прямо так и уйдете? Без жалованья? — спросил Тоблер.

Йозеф ответил, что полагает невозможным оставаться здесь долее, на что Тоблер возразил, что, мол, не стоит принимать это так уж всерьез. Засим патрон взял свою шляпу и удалился.

Через час помощник, стараясь не привлекать к себе внимания, поднялся в башенную комнатку и начал укладывать свои пожитки. Он вновь одну за другой брал в руки мелкие, пустяковые, но так много значащие для него вещицы и аккуратно, однако ж споро клал их в стоящий наготове саквояж. Закончив сборы, он минуты двеостоял у открытого окна, внимательно, с благодарностью в сердце оглядывая окрестности. Большому озеру у подножия холма он даже послал воздушный поцелуй, вовсе не думая о том, что он делает, просто ему вдруг захотелось попрощаться.

Выходя на балкон, он окликнул Вирзиха:

— Подождите! Я сейчас.

С саквояжем в руке он сошел вниз. Как же стучало его сердце!

— Я зашел попрощаться, мне пора, — сказал он г-же Тоблер.

— Что случилось-то? Вы в самом деле должны уйти? — спросила она.

— Да, — кивнул помощник.

— Вы будете иногда вспоминать обо мне?

Он наклонился и поцеловал ей руки, сначала одну, потом другую.

— Да-да, Йозеф, вспоминайте иногда о госпоже Тоблер, вам это не повредит! Она женщина самая обыкновенная, каких много, ничем не примечательная. Оставьте, пожалуйста. Не надо целовать мне руки. Попрощайтесь-ка лучше с детьми. Вальтер! Поди же сюда. Йозеф уходит от нас. Ну, Дора, дай Йозефу ручку. Вот так... — Она умолкла. Потом продолжала: — Я надеюсь и желаю, чтобы все у вас было в порядке, да я почти уверена в этом. Страйтесь быть хоть чуточку кротким, но не слишком; мужественно делать свое дело вам так или иначе придется. Только никогда не кипятитесь, не отвечайте на брошенные в сердцах недобрые слова — за резким словом так скоро приходит благовоспитанное и мягкое. Приучите себя молча справляться с обидами. То, что женщины принуждены делать изо дня в день, мужчине тоже не мешает взять на заметку. Мир и дом живут по одним и тем же законам, только размах у них разный. Ни в коем случае не горячитесь!.. Вы все уложили? И Вирзих тоже уходит с вами? Послушайте меня, Марти: никаких наскоков, главное — учтивость. Тогда вы обязательно добьетесь успеха! Я... я тоже скоро уеду. Этот дом для нас потерян. Мы все — я, муж, дети — переберемся куда-нибудь в город, наверно, снимем квартиру подешевле. Человек ко всему привыкает, но скажите честно: хоть немножко вам у нас нравилось? Правда? Ведь было столько хорошего! А Тоблеру передать, что вы велели кланяться?

— Непременно. Сердечный ему привет! — сказал помощник.

— Я передам, ему будет приятно. Право же, он заслужил, чтоб вы не держали на него зла. Он любил вас, как и все мы. Вы были у нас... нет, теперь уходите! Счастья вам, Йозеф!

Она подала ему руку, а потом как ни в чем не бывало повернулась к детям. Он поднял саквояж и вышел из комнаты. И вот уже Марти и Вирзих покинули виллу «Под вечерней звездой».

Выходя на проезжую дорогу, Йозеф на миг остановился, достал из кармана одну из тоблеровских сигар, закурил и еще раз оглянулся на дом, мысленно посыпая ему последнее прости. И они зашагали дальше.

